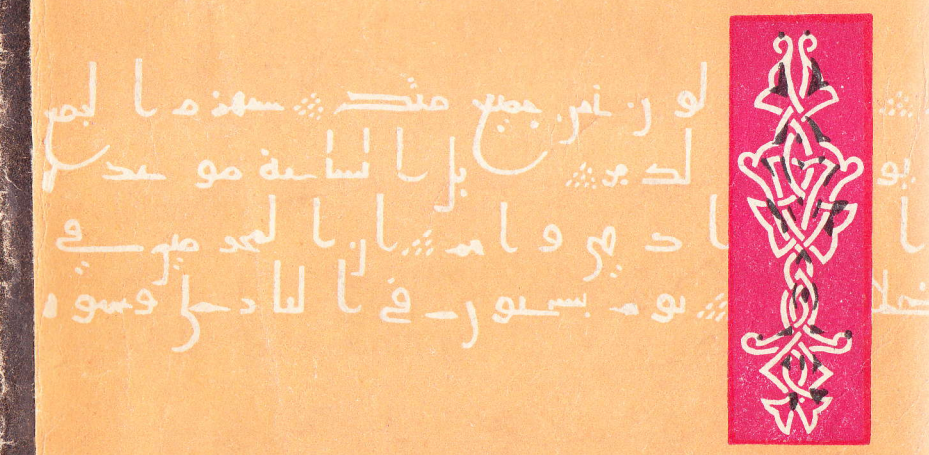
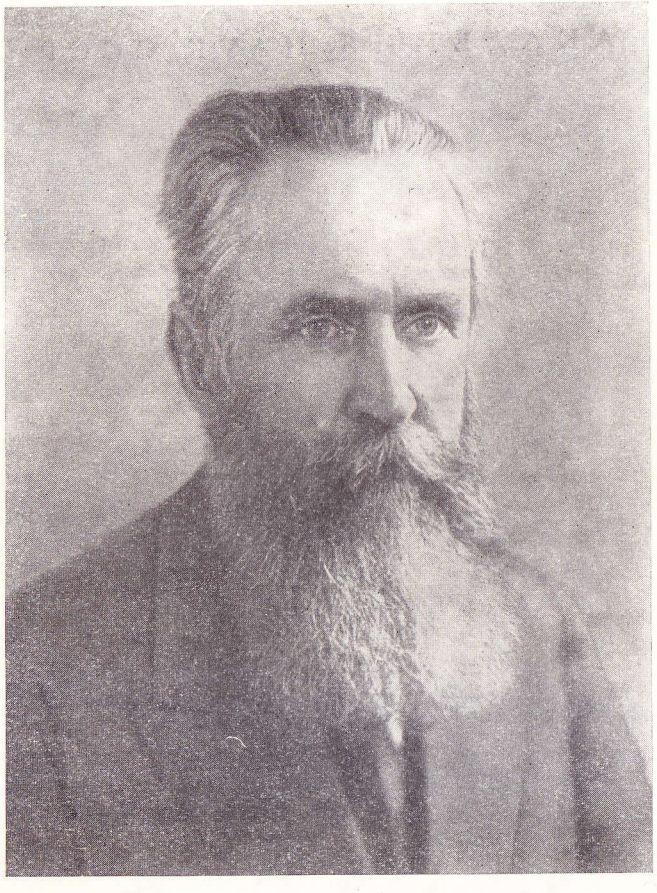
АКАДЕМИК
И. Ю. КРАЧКОВСКИЙ

НАД АРАБСКИМИ РУКОПИСЯМИ





Академик И. Ю. КРАЧКОВСКИЙ

002
К-78

Академик
И. Ю. КРАЧКОВСКИЙ

НАД АРАБСКИМИ РУКОПИСЯМИ

ЛИСТКИ ВОСПОМИНАНИЙ О КНИГАХ И ЛЮДЯХ

12278

ИЗДАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
Москва 1965

Ответственный редактор

академик Н. И. КОНРАД

И. Ю. КРАЧКОВСКИЙ

(к новому изданию его труда «Над арабскими рукописями»)

Вскоре после кончины (24 января 1951 г.) академика Игнатия Юлиановича Крачковского Совет Министров СССР предложил Академии наук СССР издать собрание избранных работ этого выдающегося советского востоковеда. В настоящее время вышли из печати все шесть томов этого издания.

Издание важнейших работ И. Ю. Крачковского — дело, имеющее серьезное научное и общественное значение и притом в высшей степени своевременное.

И. Ю. Крачковский, как известно, был востоковедом-арабистом. По образованию, по направлению научной деятельности, полностью отвечавшему его интеллектуальному складу, он был филолог. А быть востоковедом-филологом для него, как и для каждого подлинного филолога, всегда означало самозабвенно погружаться в постижение жизни и культуры того или иного народа Востока, жизни и культуры, проявление которых он равным образом видел и в том, что находил в покрытом пылью веков памятнике письменности, и в том, что являет нам кипучая, бьющая ключом, насыщенная противоречиями жизнь этого народа.

Мало кто, может быть, так цельно олицетворял собою этот тип востоковеда-филолога, как И. Ю. Крачковский. Он мог, забыв обо всем на свете, неотрывно сидеть над сложной арабской рукописью в каком-нибудь книгохранилище, где царит благоговейная тишина. Мог, также забыв о времени, бродить по Бейруту, Дамаску, Каиру, жадно всматриваясь в раскрывающуюся перед ним жизнь. Мог подолгу беседовать на какой-то маленькой станции близ Каира с мальчиком-арабом, чистильщиком сапог, и унести с собой эту беседу, рассказать о ней много-много лет спустя, как это он сделал в одном этюде из сборника «Над арабскими рукописями». Именно этот сборник мы сейчас снова предлагаем вниманию читателя: новейшая история арабской нации с особенной ясностью показала нам, насколько проницательны и жизненны были взгляды И. Ю. Крачковского на арабскую культуру, насколько

правилен был его призыв тщательно и всесторонне ее изучать.

В этих этюдах И. Ю. Крачковский не раз отмечал, что книги у него часто побеждали людей. «Неожиданно и причудливо переплетались, часто неразрывно, в моих скитаниях по Востоку люди и книги. Но чем дальше шло время, тем больше книги оттесняли людей»,— пишет он в одной из своих статей. Но тут же делает характерное замечание: «Книги вводили меня в новый мир и показывали мне людей легче и быстрее, чем это удавалось мне самому при непосредственном наблюдении». Что же значат эти слова, как не признание того, что и книги были ему нужны только для познания людей? Недаром статья заканчивается знаменательными словами: «Жизнь, однако, меня научила, что людей нельзя отделить от книг; книги опять привели меня к людям, и только тогда я понял по-настоящему историю нашей науки».

Эти слова были написаны И. Ю. Крачковским в самом конце его жизненного пути. И разве может не волновать нас это явившееся как бы итогом всей его жизни сознание, что работа ученого — истинного ученого — только одним по-настоящему и вдохновляется — чувством своей неотделимости от людей, от жизни, пусть даже и не исполненной мира и тишины книгохранилищ...

Вот это никогда не покидавшее И. Ю. Крачковского сознание и привело его к работе, которая стала одним из подвигов его научной жизни: к изучению новой арабской литературы.

Надо знать историю нашего востоковедения, чтобы понять, что это означало тогда, в дни молодости И. Ю. Крачковского. В те времена начинающий ученый мог рассчитывать на самую активную поддержку своих учителей, когда они видели его сидящим над средневековой арабской рукописью. И не так просто было тогда молодому ученому сказать, что он с вниманием читает и недавно вышедший роман какого-нибудь современного сирийского, ливанского или египетского писателя. И не только читает, но и считает возможным писать о нем. И не только писать, но и считать изучение творчества современного арабского писателя наукой. Тем самым И. Ю. Крачковский преодолевал упорно державшееся среди части востоковедов того времени убеждение, что наука и современность — «вещи несовместные». Это помогало И. Ю. Крачковскому стать не только первоклассным знатоком средневековой арабской письменности, но и первым по времени и лучшим тогда знатоком новоарабской литературы. И знаменательно: к этой литературе обратило его живое соприкосновение с людьми на арабском Востоке. «Впервые, наконец, передо мной открывалась здесь вся новая арабская литература», — пишет он в одном из этюдов настоящего сборника. Понятен поэтому тот пиетет, которым окружено имя И. Ю. Крачковского в странах арабского Востока. Когда образовалась в Дамаске Академия наук — первая национальная Академия наук у арабов, — И. Ю. Крачковский стал ее членом. В дни чествования И. Ю. Крачковского в 1935 году, по случаю 30-летия его научной деятельности, один из крупнейших писателей современного Египта Махмуд Теймур писал: «Я шлю ему искреннейший привет, выражая чувства дружбы и благодарности, которые питает к нему весь арабский мир, а в частности народ Египта. Ведь человек, который всю свою жизнь посвятил ознакомлению западного мира с арабской культурой, который открыл нам путь, помогающий занять нашей литературе подобающее место среди мировых литератур, достоин высочайшего сана в наших сердцах». Не случайно и то, что делегация арабских ученых, побывавшая у нас не так давно, по приезде в Ленинград первым делом выразила желание побывать на могиле знаменитого советского арабиста.

И. Ю. Крачковский был арабистом-филологом. Что же это собственно означает? Звания кандидата и доктора филологических наук у нас сейчас присваивают и лингвистам и литературоведам. Был ли И. Ю. Крачковский лингвистом или литературоведом? И да, и нет. Он был филологом в самом точном смысле этого слова.

Настоящий филолог не имеет права быть только лингвистом. За явлениями языка он должен видеть самый язык, а через него — мышление, ум. За романом или стихотворением он должен уметь разглядеть творческий гений народа. Филолог должен быть и историком, но таким, который видит в истории всю целостность жизни, борьбы и творчества.

И. Ю. Крачковский не был склонен к широким обобщениям. Это был мастер скрупулезных специальных исследований. Но писал ли он о «значении слова аннаджм в Коране», т. е. работу лингвистическую, или о

творчестве новоарабского писателя Амина Рейхани, т. е. работу литературоведческую, или о каком-нибудь арабском документе — памятнике средневековой истории и культуры, т. е. работу историческую, за всем единичным он видел общее — творческую деятельность народа. Трудный, сложный, но всегда созидательный в своих больших линиях путь народа был неизменно перед глазами филолога И. Ю. Крачковского.

Быть филологом-арабистом для И. Ю. Крачковского означало с полной свободой читать любой арабский письменный документ любой эпохи; читать документ, написанный любым почерком — и куфическим, и магрибинским, и всяким другим. Быть исследователем для него означало — на каком бы языке ни была написана научная работа на тему, его интересовавшую, он должен был уметь эту работу прочитать.

В статье «Аль-Андалус и Ленинград» он перечисляет те языки, которые должен знать современный арабист-филолог: английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, голландский, датский, шведский, чешский, польский, сербский, болгарский, украинский. «Список необходимых языков ширится и ширится; если выдвинуть эту фалангу всю сразу, она может устрашить, но при постепенном движении человеческой жизни ею часто овладеваешь как-то незаметно для самого себя»,— утешает он молодого арабиста. К сказанному надо добавить: арабиста И. Ю. Крачковского не затрудняли и языки персидский, турецкий, эфиопский.

Даже полученное им образование в какой-то мере обеспечивало все это. На старом восточном факультете Петербургского университета не было отделений арабского, персидского, турецкого, а было отделение арабско-персидско-турецкое; не было отделения китайского, отделения японского, а было отделение китайско-японо-корейское; было там и отделение еврейско-сирийско-арабское. Справлялись со всем этим. А те, кто не справлялся, быстро исчезали с восточного факультета, и никто их не задерживал. Да и вряд ли надо было задерживать.

О трудностях работы на факультете хорошо рассказал сам И. Ю. Крачковский, передав услышанный им в библиотеке разговор двух старых библиотечных «служителей», как их тогда называли,— верных и испытанных друзей нашей научной молодости.

«— Вот Крачковский и по вечерам стал ходить: сегодня опять сидит.

— Видел! — раздается слегка недовольная реплика Петра.— Дня ему мало!

— Верно торопится,— продолжает свои мысли, точно не слушая, Иван.— Скоро его на Восток к арабам в командировку пошлют, пускай еще там поучится.

— Ходить-то он ходит,— как бы начиная задирать собеседника, басит недовольно Петр.— А вот прок какой будет?

— Почему не будет? — все еще спокойно говорит Иван.— Походит, походит, а там смотришь и диссертацию напишет, защитит, магистром будет. Восточники— это что классики,— настоящий народ, не то что юристы. Юрист раз в месяц придет в библиотеку и уже книгу написал: что это за работа? А вот филолог или восточник — года два каждый день сидит, это дело настоящее».

Была в И. Ю. Крачковском и еще одна черта настоящего большого ученого, часто проявлявшаяся на наших глазах.

В начале 1930 года ему привезли из Йемена две бронзовые таблички с южноарабскими письменами. Что следовало делать ученому в этом случае? Прочитать таблички и определить их достоверность. «Такой задачи мне никогда еще не приходилось решать,— пишет Крачковский.— Приступать к первому опыту было жутковато, но и отказаться от него было нельзя. Этого не допускало достоинство нашей науки; неудобно было в самом деле, ввиду отсутствия у нас специалистов, послушаться совета некоторых наших представителей и послать надписи на экспертизу в Италию». А это ему предлагали и некоторые иностранные ученые. «Пойти на это — значило бы, с моей точки зрения, сознаться в своем бессилии и, не исчерпав всех средств, отказаться к тому же от приоритета нашей науки. Мне делалось как-то стыдно».

И, конечно, И. Ю. Крачковский эту работу сделал, заставив всех скептиков за границей замолчать. Вот это постоянное сознание ответственности за отечественную науку, за ее достоинство, никогда не покидающее истинного ученого — патриота своей страны, было присуще Крачковскому всегда и проявлялось оно не в виде крикливых, назойливых деклараций, а сдержанно, скромно, но твердо.

Вспомнить о замечательном нашем востоковеде сейчас уместнее, чем когда-либо. Нельзя в настоящее время думать о возрождении такого типа ученого-филолога, каким был Крачковский. Он и сам это хорошо понимал.

«Арабист современного поколения с первых шагов самостоятельной работы должен считаться с непреложным законом — дифференциацией науки. Теперь нельзя уже, как бывало раньше, стать специалистом во всех трех областях — лингвистики, литературоведения, истории. Каждая из них настолько развилась, накопила такие большие материалы, что человеческой жизни мало для овладения этим богатством даже по одной из трех линий»,— писал Крачковский.

Да, сейчас у нас должен быть востоковед-лингвист, востоковед-литературовед, востоковед-историк. Это — бесспорно. Но одно остается непреложным, прежде чем стать одним из таких специалистов, нужно пройти школу востоковеда-филолога, быть вооруженным всем филологическим знанием, владеть методом филологического исследования. Лишь оно, такое знание, дает возможность стать в дальнейшем полноценным специалистом по языку, литературе, истории какого-либо народа Востока.

Мы имеем право идти только вперед. А идти вперед в востоковедении можно, лишь отправляясь от того, что было достигнуто прежним русским востоковедением. Уровень достигнутого ярко демонстрируют крупнейшие востоковеды нашего прошлого и среди них не так давно ушедший от нас И. Ю. Крачковский. Оставаться только в этих пределах мы уже не можем, слишком усложнились и расширились задачи нашего востоковедения. Но мы не можем ни шагу сделать действительно вперед, если не овладеем этим уровнем.

Академик Н. И. Конрад

Выход в свет третьего издания моей книжки подтверждает, что для нее нашлось место в нашей культуре. Об этом же говорит не слабеющий до последнего времени поток писем и откликов на нее, идущих со всех концов нашей страны, от представителей самых разнообразных специальностей, от лиц различного возраста и положения. Подтверждает это и переиздание некоторых ее частей в такой популярной серии, как «Библиотека „Огонька“». Интерес к книжке перекинулся и в арабские страны, и на запад. Я должен сказать откровенно, что не ожидал такого широкого резонанса, и, может быть, если бы я это предвидел, некоторые части были бы написаны иначе, яснее и обстоятельнее. Но коль скоро книжка так сложилась «исторически», то пусть она остается в том виде, как вылилась впервые, хотя многое с той поры переменилось.

Эта мысль побудила меня выпустить ее в третий раз без дополнений и серьезных изменений. Я ограничился только мелкими поправками, преимущественно стилистического характера, и лишь в приложении добавил один отдел с перечнем важнейших рецензий на мою книгу и известных мне переводов ее на иностранные языки. При всей неполноте находящегося у меня в руках материала, этот перечень, как мне кажется, достаточно отчетливо говорит, что книжка нашла отклик в очень широких кругах у нас и за рубежом.

Обращаясь еще раз к своей памяти после двух лет, прошедших со времени второго издания, я вижу, что наиболее яркие примеры той роли, которую играли в моей жизни рукописи, в нем уже исчерпаны. Поэтому, одно из пожеланий многочисленных корреспондентов и на этот раз остается без удовлетворения.

Ко мне часто обращаются и с вопросом, и с укором, почему я не вспомнил того или иного ученого, о котором говорю при других обстоятельствах или с которым я был знаком, почему я ничего не писал о таком-то факте моей научной биографии. И раньше и теперь я отвечаю только

одно: книжка далеко не исчерпывает моих воспоминаний ни о людях, ни о своих работах; в ней я писал только о тех, к которым меня привели рукописи, или которые были близко связаны с ними. Ее никак нельзя считать отражением всей моей жизни и всех моих воспоминаний; поэтому и в новом издании я устоял от соблазна дополнить ее главами о других людях и фактах на моем жизненном пути, чтобы не нарушить основного стержня и «жанра» книжки.

Таких людей и событий было много; и многое из того, о чем нет ни слова в этой книге, для меня так же дорого, как и закрепленное в ней. За последние годы я чувствую, как перед моим взором все отчетливее и настойчивее рисуются образы отошедших «учителей и учеников». Они все более властно требуют своего воплощения в слове и так же подчиняют мою волю, как в недавнее время рукописи. Работа над книгой о рукописях нашла свое признание и показала, как рассказ о личных настроениях и переживаниях может войти в широкое русло культурной истории. Мне думается, что я должен послушаться и других голосов, строго заявляющих о своем праве на мою память. Может быть, следующая мемуарная книжка, если позволят силы, и будет посвящена моим «учителям и ученикам».

Ленинград
Апрель 1948 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Судьба этой книжки оказалась счастливой: я писал ее в суровые годы войны, но свет она увидела в знаменательные дни мая 1945 г., когда вся страна с торжеством встретила победное завершение подвига военных лет. Тяга к мирному труду, к прерванной работе над величественным зданием нашей культуры почувствовалась особенно сильно, и книжку дружественно приветствовал даже тот, кто был в жизни далек от арабских рукописей, кто никогда раньше не думал о восточной филологии. Письма и отзывы за полгода показали, что необходимо второе издание, что в нашей ширящейся культуре для книжки нашлось место.

Второе издание я готовил уже не в эвакуации, а в своей библиотеке, среди старых друзей — рукописей и книг, переживших блокаду. Теперь я мог проверить даты, исправить неточности в цитатах, если погрешила моя память, внести ясность в отдельные детали.

Я дополнил книжку двумя циклами — третьим и седьмым, написанными в других условиях, сравнительно с первым изданием. Я чувствую, что по стилю они иногда не похожи на прежние: в одном из них, может быть, слишком много цитат, много документов, языком которых говорить о самом себе мне было легче, чем собственными словами. Мне захотелось, чтобы в книжке об арабских рукописях прозвучал голос наших друзей, которых и теперь много в арабских странах.

Я не боялся, что в циклах, слагавшихся в разное время, не выдержан хронологический порядок, нет полного единства в манере изложения или встречаются иногда повторения. Ведь жизнь среди рукописей так же многообразна, как среди людей, и нет нужды воспоминаниям об этом придавать строгую последовательность или внешнюю стройность. Каждая глава писалась отдельно и носит самостоятельный характер; если они дополняют одна другую или перекрещиваются нередко в деталях, за что не посетует тот, кто будет читать книжку по частям.

Я очень благодарен всем отозвавшимся добрым словом или пожеланием на дорогие для меня мысли. Частичным ответом на некоторые пожелания и явились два новых цикла. Меня не осудят за то, что я сохранил основной стержень: везде я исходил из воспоминаний о рукописях и книгах, везде я говорил только о тех людях, к которым на жизненном пути меня привели рукописи и книги, старые и новые, арабские и русские.

Ленинград
Декабрь 1945 г.

ПРЕЛЮДИЯ
(1943)

Я прошу не смотреть на эту книжку как на личные мемуары автора. Я писал воспоминания не о самом себе, а об арабских рукописях, которые сыграли большую роль в моей жизни, которые мне посчастливилось найти, которые через мои руки вошли в научный мир.

Рукописи часто влекли воспоминания о разных библиотеках, где они хранились, о людях, которые были с ними связаны, и, конечно, о самом себе. Но не все это было основным. Мне прежде всего хотелось показать, что́ переживает ученый в своей работе над рукописями, немного приоткрыть те чувства, которые его волнуют и о которых он никогда не говорит в своих специальных трудах, излагая добытые научные выводы. Мне хотелось рассказать о радостях и огорчениях кабинетной работы, о которых многие и не подозревают, считая ее скучной, сухой, оторванной от жизни.

Может быть, в моем рассказе увидят слишком много сентиментальности и романтизма, но я не боюсь этого упрека: та́к я переживал свою работу и та́к о ней вспоминаю.

В этой книжке я не стремился сознательно к популяризации науки; для меня не важно, если читатель не запомнит отдельные факты или имена, которые в ней названы. Но я ограничивался материалом только из близкой мне сферы, о многом я писал теперь впервые, о многом иначе, чем раньше; может быть, поэтому в книжке встретится изредка что-нибудь новое и полезное для науки. Однако дело не в этом. Для меня важно другое. Я не скрываю, что хотел немного пропагандировать свою область, полным голосом заговорить про восточную филологию. По мере сил я старался показать, что в ней работают люди не только потому, что к этому влечет их субъективный, как думают некоторые, странный вкус, что к ней стремятся не только любители экзотики или уходящие от жизни отшельники. Вспоминая свои переживания над рукописями, я не мог не говорить о том, как малейшая деталь работы здесь связывается с широкими

вопросами истории культуры, как все в конечном итоге вливается в мощное движение на пути к высоким идеалам человечества.

Вот что всегда наполняло мои думы, и мне хочется, чтобы эти мысли нашли доступ в умы и сердца тех, кто будет читать книжку.

Санаторий «Узкое»
1 августа 1943 г.

I. В РУКОПИСНОМ ОТДЕЛЕ

(Посвящается И. А. Бычкову)

Пролог
(1901)

Первый раз с трепетом и благоговением переступил я порог Публичной библиотеки в Петербурге в начале века, в 1901 году, студентом первого курса, еще полный живых впечатлений от давнего либерального романа Д. Л. Мордовцева «Знамения времени», где так часто фигурирует Публичная библиотека с директором ее Бычковым. Если бы собрать все то, что написано о нашей библиотеке в одной только художественной литературе, получилась бы книга интересная и поучительная, ярко рисующая историю нашей общественной жизни, историю борьбы за свободу мысли, в картинах, полных иногда высокого пафоса, иногда глубокого трагизма.

12278

И когда теперь, через сорок лет после первого ее посещения, я вхожу в серьезные залы Рукописного отдела, когда я вижу замечательную фигуру его хранителя, все с той же фамилией Бычкова, которую так хорошо знали еще наши отцы и деды, я каждый раз испытываю особый подъем, ощущаю всю важность вершимого здесь дела.

Ведь для нас — восточников — Рукописный отдел всегда был и остался редкой школой; сюда мы робко входили юными студентами, здесь создавались наши первые работы, и через десятки лет мы, уже поседев, все продолжали приходить сюда учиться со своими учениками и направляли сюда учеников своих учеников.

Среди этих высоких, немного суровых стен зародилось неисчислимое количество диссертаций, было сделано немало выдающихся научных открытий, когда вглядывавшийся в рукопись вдруг откидывался на спинку стула, а в мыслях у него уже оформлялась новая неожиданная идея, и он трепетно переживал великое счастье ученого — процесс научного творчества, который одинаково дорог и тому, кто стоит у реторты в лаборатории, и тому, кто вглядывается в строки рукописи на столе.

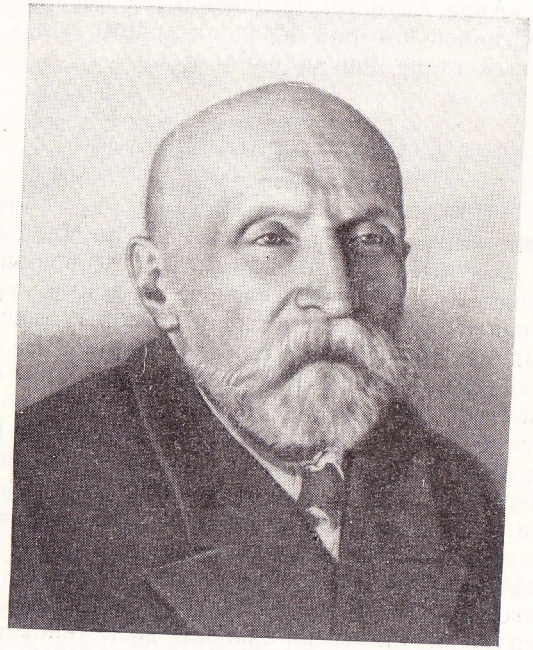
Все располагало здесь к работе и как-то сразу окутывало ее атмосферой. По временам даже трудно было поверить, что за стеной кипит шумная уличная жизнь; здесь тишина, как в хорошей лаборатории. Неустанно пишет «Нестор летописец», застывший белой статуей, для которой здесь нашлось такое хорошее место. Тихо движется фигура верного хранителя рукописных сокровищ, всегда готового прийти на помощь и советом, и справкой; тихо шелестят за столами страницы многовековых рукописей и книг. Медленно, шаг за шагом, строчка за строчкой творится научная работа, результаты которой выйдут далеко за эти высокие стены, попадут и на шумящие за ними улицы, в листах газет и журналов будут разнесены по всей стране, станут на полки среди книг Публичной библиотеки.

Проходят года, меняются поколения ученых, но работа здесь идет, не останавливаясь. И по-прежнему, как spiritus movens Рукописного отдела, тихо движется замечательная фигура хранителя, при жизни перешедшего уже в историю и легенду. Редкая юбилейная дата, как прожектором, неожиданно осветит пройденный путь, и тогда ярко встает все то, что сделал Иван Афанасьевич и для своей страны, и для науки, и для всех ученых. Однако этот прожектор бросает лучи и на страницы нашей жизни и на листы тех рукописей, что оставили в ней неизгладимый след...

1. Старый апокриф

(1906)

Совсем молодым магистрантом, только что кончившим университет, сижу я в Рукописном отделе. Передо мной на столе пять листков пергамента — все, что осталось от большой когда-то рукописи. Но эти листки и теперь бесценны. «Из коллекции Тишендорфа»,— многозначительно прошептал Иван Афанасьевич, принеся их откуда-то из таинственных сокровищниц отдела. С особым чувством рассматриваю я их. «Писано в 272 году по годам арабов» — стоит в конце: рукопись на тысячу лет старше меня. Я вчитываюсь в этот апокриф, где Сатана беседует со Смертью; я понимаю, почему церковь не включила его в свой канон — слишком ярко отражены в нем чело-



И. А. Бычков (1858—1944)

веческие чувства, не так, как подобает по уставу монахам. Подпись обстоятельна: «Писал этот список Авва Антоний багдадский в монастыре святого Саввы, а просил его написать Авва Исаак для горы Синая». И сквозь эти строки, как живых, вижу я отшельников, точно сошедших со страниц апологов Лескова. Их разделяет пустыня, но она не может прервать дружеского обмена литературой; дикие бедуинские племена не в силах закрыть дорогу рукописи, и она совершает свой путь из Палестины на Синай.

Через год я сам бродил уже около Мертвого моря и ночевал в монастыре святого Саввы. Толпа образов окружила меня. Вспоминалась поэма Алексея Толстого «Иоанн Дамаскин» — ведь здесь Дамаскин посадил пальму, и потомок ее, единственный в этой местности, и теперь осеняет небольшую площадку. Может быть, под этой

пальмой «Авва Антоний багдадский» и писал в 885 году рукопись, конец которой бережно хранит в XX столетии Рукописный отдел нашей библиотеки.

2. Переводчик Крылова

(1922)

Странную рукопись вынес мне сегодня Иван Афанасьевич. Я все пытаюсь проникнуть в отношения арабов к покоренному населению завоеванных ими стран, хочу понять связи мусульман с христианами, объяснить распространение арабского языка в Сирии. В инвентаре я нашел упоминание неизвестного арабского евангелия и просил его достать, а он принес какой-то большой лист бумаги, едва уместившийся на столе. Развернув его, я с изумлением увидал два слова, выписанные арабскими буквами во весь лист бесчисленными пунктирными линиями: «Александр Николаевич». Я сперва остолбенел и, только вглядевшись, обнаружил, что принятое мною за пунктир — на самом деле мельчайшие строки арабского письма. В этих-то строчках в двух словах и оказался выписанным по-арабски весь текст евангелия. Но при чем тут «Александр Николаевич»? Когда из «Отчета» библиотеки я узнал, что рукопись поступила в 1868 году от Ризкаллаха Хассуна, мне все стало ясно, и ряд нитей потянулся к этой оригинальной фигуре каллиграфа и политика, поэта и авантюриста. Арабский националист, он, спасая свою жизнь, бежал из Турции через Кавказ в Россию, кажется, не без содействия нашего дипломата в Константинополе генерала Богуславского, который был когда-то приставом при Шамиле в Калуге. Ряд лет Хассун провел в Петербурге, наивно пытаясь добиться, чтобы Александр II помог основать самостоятельное арабское государство. Для поднесения ему и была предназначена, очевидно, эта рукопись — искусный каллиграфический фокус.

Отчаявшись в своих попытках, Хассун переселился в Англию, откуда ядовитыми сатирами и зажигательными листовками вел борьбу с турецким султаном и туркофильской партией среди арабов. Большим другом его стал тоже талантливый человек и тоже немного авантюрист, востоковед Пальмер, таинственно убитый бедуинами на Синае в 1882 году; за два года до этого так же таинственно кончил свою жизнь в Англии и Хассун, как говорят, отравленный агентом турецкого султана.

Хассун был большой любитель и знаток литературы: каллиграфически переписанные им рукописи украшают и другие собрания, они попадаются и в Бейруте, и в Алеппо, и в Лондоне. России он отплатил за гостеприимство прочувствованными, хотя наивными стихами и очень оригинальным переводом нескольких басен Крылова на арабский язык.

3. Современник Хулагу

(1911)

Сегодня я уже думал, что Иван Афанасьевич ошибся и достал мне не ту рукопись, которую я просил.

Вчера неожиданно я наткнулся у Брокельмана в «Истории арабской литературы» на упоминание, будто в Публичной библиотеке сохранились образцы каллиграфии знаменитого историка Алеппо Кемаль ад-Дина. Мне стало стыдно: иностранец лучше знает, что у нас находится, а мы нигде даже об этом не говорили. А ведь Кемаль ад-Дин был известен не только как историк или дипломат, но и каллиграф. Сам грозный Хулагу, разорив его родной Алеппо в 1260 году, соблазнял Кемаль эд-Дина вернуться из Каира, куда он спасся, на высокий пост главного судьи в Сирии.

Утром я торопливо шел в библиотеку, волнуясь и както не веря, что буду держать в руках автограф знаменитого человека эпохи великих монгольских завоеваний. Иван Афанасьевич, как всегда быстро и несколько таинственно, вынес рукопись. Я с недоумением стал ее перелистывать. Передо мною был изящный альбом каллиграфических образцов, но гораздо более позднего времени — XV—XVI веков. С интересом я любовался замечательными упражнениями из Герата, Бухары, Самарканда; мне стало ясно, что я вижу памятник каллиграфического искусства знаменитой Гератской школы, где алеппскому историку XIII века места не было. Однако ошибки в ссылке тоже не было, а Иван Афанасьевич уже начинал волноваться, доказывая, что рукопись соответствует шифру. Тогда я внимательно принялся вглядываться в подписные

образцы и быстро обнаружил, что среди них несколько раз фигурирует какой-то Кемаль ад-Дин, но это, конечно, мог быть только тезка знаменитого историка. Как часто случается, и я поспешил заподозрить в ошибке старика Дорна с его каталогом, но, раскрыв книгу, сейчас же убедился, что он вовсе не сопоставлял этого каллиграфа с историком. Значит, ошибся сам Брокельман, а Иван Афанасьевич, как всегда, оказался прав. Я возвращался домой несколько разочарованный тем, что не увидел почерка знаменитого человека, но успокоившись, что мы не проглядели редкого автографа.

Позже судьба меня все-таки побаловала: в Лейденской библиотеке я обнаружил целую историческую рукопись, переписанную самим Кемаль ад-Дином в Багдаде в феврале 1257 года, только за год до того, как «город мира» был разорен Хулагу.

4. «Заложник двойной тюрьмы»

(1912)

Все-таки старый Дорн, сказать правду, повинен во многих прегрешениях, и немало фантазий насчет наших рукописей с его легкой руки из каталога пошло гулять по свету. Но, поминая его лихом, мы часто забываем, что он работал в то время, когда не было еще не только Брокельмана, но даже Хаджжи Халифа не был полностью напечатан. И кто знает, меньше ли грешим мы сами, имея даже таких предшественников... Кроме того, иногда недоразумения Дорна утешают нас тем, что позволяют делать маленькие открытия.

Лет тридцать назад я просматривал в Рукописном отделе один сборник небольших трактатов. Рукопись, хотя и поздняя — начала XVI века, действительно была хороша: небольшого продолговатого узенького формата, она походила по типу на альбом и была переписана в Египте изящно и аккуратно каким-то любителем, понимавшим толк в филологии. На последнем месте там стояли, по словам Дорна, извлечения из грамматических трактатов и посланий ат-Тибризия. Я пробегал их не особенно внимательно, зная автора как очень трудолюбивого, но довольно ординарного комментатора. Я с улыбкой вспоминал только, как после смерти ат-Тибризия в Багдаде,



Абу-ль-Аля аль-Маарри (353—449/983—1057 гг.)— Рисунок писателя, филолога и художника Джабрана Халиль Джабрана (1883—1931)

где он кончил свои дни профессором в славном Медресе ан-Низамийя, показывали громадный словарь, который он притащил в молодые годы на спине из Тавриза в Сирию, чтобы проштудировать его у знаменитого слепого поэта и ученого Абу-ль-Аля в Маарре около Алеппо. Словарь выглядел, точно его вытащили из воды: настолько он пострадал за долгий путь от пота на спине.

И вдруг, проглядывая последнее послание, я почувствовал, что стиль его мало напоминает скучноватого ученого схолиаста: мне почудилась по адресу вельможного адресата какая-то ирония, закутанная эффектными риторическими фигурами и фразами наружного самоуни-

жения. Внимание насторожилось, довольно было двух-трех справок, и я убедился, что передо мной не извлечение из посланий ат-Тибризия, как говорил Дорн, а оригинальное послание самого знаменитого слепца из Маарры, которое его ученик сохранил так же бережно, как принесенный на спине словарь. Оно сразу заиграло всеми красками острого насмешливого ума, и я уже улыбался над всесильным египетским везирем, который прослышал про чудаковатого поэта-филолога и пожелал удостоить его высокой чести, чего безуспешно добивались многие, пригласив к своему двору. Однако специальный гонец, отправленный к правителю Алеппо с приказом доставить слепого старика, вернулся только с извинительным посланием, которым я и наслаждался. Абу-ль-Аля писал в обычном для него тоне изящной, едва уловимой иронии, что он недостоин такого почета и лучше ему, «заложнику двойной тюрьмы» — слепоты и одиночества — оставаться в своем добровольном заключении. Трудно теперь сказать, понял ли всемогущий везирь всю тонкость рассыпанной иронии, так как его едва ли не в том же году казнил владыка — фатымидский султан Египта.

Так недоразумение в каталоге Дорна лишний раз натолкнуло меня на давнего любимца Абу-ль-Аля, рукописи которого неожиданно доставляли мне радость на жизненном пути и в Каире и в Лейдене, сочинения которого сопровождали меня и на Черноморском побережье и даже тогда, когда других книг у меня не было.

5. Из Сицилии через Персию в Петербург

(1929)

В рукописи по хорошему обыкновению вклеен листок с предварительным ее описанием, которое давно составил бывший заведующий Восточным отделом библиотеки. Описание беспомощно; оно говорит только о том, что рукопись — какое-то географическое сочинение с картами странного вида, где упоминаются между прочим русы. И на этом же листке внизу вкось характерным ломаным почерком Виктора Романовича Розена карандашом приписано: «Да ведь это же Идриси!» Так и чувствуется, что в этом лаконическом возгласе вылилось негодование на беспомощного автора аннотации, который не узнал такой

выдающийся памятник. Рукопись и сама по себе интересна: в 90-х годах XIX века ее купил в Тегеране полковник Косаговский, возглавлявший недоброй памяти казачью бригаду, а начальник Генерального штаба, к которому она попала в руки, здраво рассудил, что лучшее место для нее в Публичной библиотеке, где ее бережно хранит Иван Афанасьевич.

Долог был ее путь, и как она очутилась в Иране — мы, верно, никогда не узнаем. Писана она прекрасным магрибинским североафриканским шрифтом с аккуратно вычерченными своеобразными картами — самым замечательным памятником европейской картографии XII века. Европейской — это не оговорка: ведь автор, аль-Идриси, потомок владетельных североафриканских эмиров, работал при дворе норманского короля Сицилии Рожера, собирал рассказы арабских, варяжских и славянских купцов — «гостей», знал не только Птолемея, но и Оросия.

Рукопись наша, конечно, не автограф, но по времени могла быть копией с него; через много рук и в Африке, и в Азии, и в Европе она прошла, прежде чем найти успокоение на полке Рукописного отдела. А где ее первая половина, отставшая на этом пути, цела ли она, мы так и не знаем. Но рукописи иногда живучее, чем люди; может быть, и она когда-нибудь выплывет в неожиданном месте, а будущий Брокельман аккуратно занесет ее в свой реестр, но, вероятно, он не сразу догадается, где ее вторая половина...

Эпилог

(1941)

...Они окружают меня. В бессонные ночи, в часы болезни, когда голова, охваченная лихорадочным жаром, не управляет мыслями, они толпятся вокруг меня, робко, точно с боязнью подвигаются ко мне. В их шелесте я различаю тихие голоса: «Ты не забыл нас? Ты не уйдешь от нас? Ты помнишь, как ты возвращал нас к жизни, как, вглядываясь в полустертые строки, ты медленно открывал их смысл, как в торопливой или вычурной приписке ты вдруг узнавал нашу историю и легкий холодок волнения пробегал у тебя на спине. Одно блеснувшее перед тобой имя давало нам место в былом и мы опять оживали уже

навсегда, пролежав в земле или в забытых сундуках сотни лет».

Они обступают меня со всех сторон — и желтоватые дорогие пергаменты со строгим куфическим шрифтом или неторопливым письмом синайских монахов, и блестящие страницы вощеной бумаги роскошных экземпляров из библиотек мамлюкских султанов, и бедные, скромные, но бесценные автографы ученых, и торопливые записи их учеников, и уверенные, красивые, но холодно-бездушные почерки нескольких — профессиональных переписчиков. Одни листы чисты и свежи, как будто только что вышли из рук первых владельцев, другие обожжены и залиты водой — следы бедствий, которые не щадили их, как не щадят они и людей. Точно страшные инвалиды, как мрачный укор людской жестокости, глядят рукописи, лишенные листов в начале и в конце; мне больно смотреть на зияющие зубцы их рваных ран.

Они все окружают меня и шепчут: «Ты не забыл нас? Ты придешь к нам? Мы ведь сторицей отплатили тебе за то, что ты вернул нас к жизни. Ты помнишь, как в часы обид и огорчений, усталости и забот ты приходил к нам и с наших страниц неслись к тебе голоса верных друзей, которые всегда с радостью тебя встречают, которых никто у тебя не отнимет, над которыми сама смерть не властна. Целые неведомые главы истории открывались тебе, толпы живых людей сходили на твоих глазах с наших листов...»

Они шепчут, я вглядываюсь в них, узнаю и улыбаюсь им; страницы жизни своей и чужой встают перед моим взором, и ярких картин прошлого не скрывает больше туман веков...

II. ИЗ СКИТАНИЙ ПО ВОСТОКУ

1. Книги и люди

Вместо введения

(1908—1910)

Мрачно начинался для меня 1908 год. В январе умер мой учитель Виктор Романович Розен; при его жизни я не сознавал, как двухлетние занятия привязали меня к нему, а теперь неотступная мысль о его смерти целиком поглотила мои чувства. Мне казалось, что в науке и в жизни я сразу предоставлен самому себе. Не на меня одного угнетающе подействовала эту утрата: его старший ученик иранист В. А. Жуковский так и не оправился от нее до конца своих дней; мой предшественник А. Э. Шмидт на несколько лет впал в тяжелую депрессию, из которой трудно было его выводить. Мое настроение усиливала какая-то странная болезнь вроде коклюша: ее не могли определить врачи. По нескольку раз в сутки она заставляла меня задыхаться почти до потери сознания. И смолоду я не любил передвижений, но теперь видел, что надо как-то переменить жизнь, и стал с нетерпением ждать поездки на Восток, намеченной еще Розеном.

Как все это произойдет, я представлял себе очень смутно, и моя подготовка выражалась только в занятиях французским языком, в котором раньше у меня никогда не было практики. Попытался я запастись какими-нибудь полезными сведениями у нашего университетского лектора арабского языка, уроженца Триполи в Сирии, но и это оказалось тщетным; он только рассказал мне, как на привале варить кашу из пшеницы, а главным образом, по обычаю, издевался над своими земляками, удивляясь, что мне за охота ехать к ним и обрекать себя на съедение насекомым. После неудачных опытов подготовки к путешествию я все больше сторонился людей, и моим единственным прибежищем опять становилась университетская библиотека, где я сидел теперь не только

по утрам, но и по вечерам в те дни, когда она бывала открыта. Здесь я забывал все, одурманивая себя, запоем поглощая научную литературу по арабистике, которую мне по молодости хотелось охватить чуть ли не за три века.

Так, в каком-то мрачном полусне прошло полгода, и надо было ехать. Как я поеду, мне по-прежнему было неясно: я знал тогда одну только С.-Петербургско-Варшавскую железную дорогу, а из больших городов нигде не бывал, кроме Вильны и Петербурга. Однако мое подавленное состояние порождало какую-то апатию ко всему предстоящему.

Точно в дымке промелькнули Одесса, Константинополь, Смирна, и в июле я оказался в Бейруте. Разочарований было много, и прежде всего в самом себе. Хорошее сравнительно знание арабского литературного языка оказывалось мало полезным для разговорного, который я представлял себе только по некоторым фольклорным записям; на улице меня почти не понимали, а сам я понимал быструю арабскую речь с большим напряжением. Между тем, «заговорить» мне было нужно, это ведь являлось одной из целей моей поездки. Следовало принять энергичные меры, и я решил на два месяца уехать в маленькое местечко на Ливане, где не мог слышать никакой другой речи, кроме арабской.

Новая природа и новые люди на первых порах захватили меня целиком, и книги, казалось, отошли на задний план. Я старался быть все время на людях для практики в языке. Общительные экспансивные ливанцы с любопытством смотрели на меня и везде радушно принимали необычного для них «москóби», но мне самому при «нелюдимом» характере давалось это трудно.

«Ты только покупаешь и ничего не продаешь,— острили бойкие на язык мои новые друзья,— только слушаешь, а не говоришь». Переделать свою натуру не удавалось, и я опять начинал тосковать по книгам, с которыми чувствовал себя свободнее, чем с людьми. А книг было мало, и я с большей тщательностью, чем они того заслуживали, рассматривал скудные остатки хорошей в былом библиотеки монастыря, где когда-то сумели основать одну из первых по времени арабских типографий. Я ловил всякое печатное слово; от доски до доски прочитывал эфемерные газетки, число которых росло не по дням, а по часам под



Академик В. Р. Розен (1849—1908)

влиянием только что происшедшего младотурецкого переворота. Местечко, как почти все поселки на Ливане, было связано благодаря эмигрантам с Америкой, и здесь по скудным еще образцам я впервые открыл существование «сиро-американской» литературы, которую впоследствии пришлось открывать и для Европы. Все это меня живо захватило, и книги опять вступили в борьбу с людьми. Говорить-то я научился, но «продавать» по-прежнему не любил, предпочитая «покупать».

Две зимы, проведенные в Бейруте в полуфранцузском, полуарабском Университете св. Иосифа, как будто бы восстанавливали это равновесие между книгами и людьми, но сами встречавшиеся мне здесь люди были «книжными», и с ними я сходился легче. Какие это были имена и среди европейцев и среди арабов! Блестящий историк, эффектный лектор Лямменс, бельгиец по про-



исхождению; тонкий диалектолог француз Ронзевалль с громадным запасом юмора, но весь пронизанный каким-то внутренним страданием. А рядом, грузный, но подвижной, приветливый, вечно с корректурами своего журнала Шейхо, уроженец Мардина в Верхней Месопотамии, насыщенный, как губка, арабской литературой, всегда с готовой статьей в ответ на обращенный к нему вопрос; его друг, серьезный миниатюрный дамаскинец Сальхани, тонкий знаток поэзии и «1001 ночи», в 90 с лишним лет продолжавший текстологические изыскания над стихами своего любимца аль-Ахталя, друга молодости Иоанна Дамаскина.

Точно метеоры сравнительно с ними мелькали иногда заезжие ориенталисты с Запада — чудаковатый эпиграфист Марк Лидзбарский, направлявшийся в Пальмиру изучать надписи,— он побоялся езды верхом и вернулся обратно из Бейрута в Европу; насквозь американизированный, склонный немного к рекламе, семитолог Готтхейль; первым в Европе провидевший талант Марра бельгиец Петерс, большой поклонник Тургенева, читавший его в подлиннике. Только с ним, да еще с итальянцем Наллино, с которым я позже прожил месяц в Каире в пансионах, расположенных через улицу, у меня на долгие годы сохранилась переписка. Наллино я раньше считал специалистом по арабской астрономии; теперь он поразил меня широким знанием самых разнообразных областей литературы и большим мастерством своих лекций, которые ему приходилось читать по-арабски в Египетском университете.



Ливанские кедры зимой

Книжными людьми оказывались обыкновенно и арабы, с которыми сталкивал меня случай. Зейдан — романист, историк и журналист — стоял тогда в зените своей популярности, но не мог забыть про закрытую для него родину и был до слез растроган, услыхав, что я говорю на родном ему сирийском наречии. Случайно я открыл восходившую звезду Рейхани: слава его как лидера «сиро-американской школы» новой литературы была еще впереди, но необычный облик сразу заставлял чувствовать большой талант. Трудно было предугадать, что готовит судьба многим из тех, кого я встречал. Из скромного учителя Константина Янни, поразившего меня в Химсе своей талантливой игрой в школьном спектакле, со временем вышел организатор авиации у шерифа, а затем и у короля Хиджаза Хусейна. Редактор маленькой дамасской газетки Мухаммед Курд Али стал после первой мировой войны президентом Арабской академии. Еще больше интересных людей проходило у меня перед глазами летом, когда я бросал Бейрут и скитался то на Ливане, то в мрачных иудейских горах или мягких равнинах Галилеи. Деревенские учителя, провинциальные журналисты или корреспонденты газет, сельские врачи — все они меня встречали дружески; трудности языка давно уже были мною забыты, и беседы затягивались на часы после первой же встречи. Все они кипели и волновались, мечтали о национальном освобождении и в то же время дышали своей литературой, умилялись перед памятниками ее прошлого, которые продолжали для них жить.

Здесь у нас находился общий язык: иногда и я начинал «продавать», неожиданно и незаметно для себя не только устно, но и в печати. Странный псевдоним «Русский скиталец», изредка появлявшийся под арабскими стихотворениями в прозе в маленьком журнальчике в Хайфе, часто оказывался известным, а иногда к моему конфузу и разгаданным в самых неожиданных местах. И часто долгие беседы кончались горячей просьбой: «Оставайся с нами!»

Но так же все время меня звали книги, и они оказались сильнее. Богатая красочными людскими фигурами картина предстала предо мной на Востоке, но богатство рукописей захлестнуло меня, и я не мог уже очнуться. До того я знал только единичные списки, здесь меня встретили и сами шли мне в руки целые коллекции в сотни



Жиржй Абд аль-Джалиль, И. И. Десницкий и И. Ю. Крачковский во дворе дома в Бейруте. 8/21 февраля 1909 г.

и тысячи номеров; я чувствовал себя маленьким мальчиком на берегу безбрежного моря и, как очарованный, не мог от них оторваться. Это было выше моих сил.

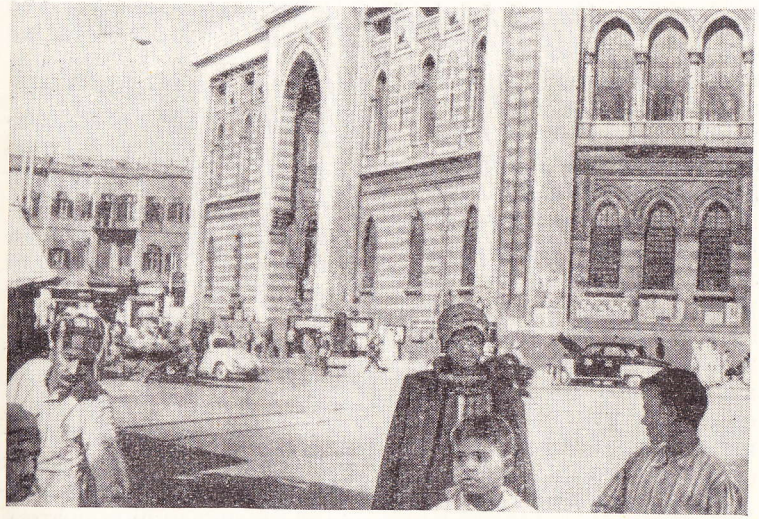
Шейхо первый ввел меня в тихую темноватую Восточную библиотеку во втором этаже Университета св. Иосифа, созданную им. Каждую книжку он знал и сам когда-то давно выбрал для нее место на полке; каждая рукопись была приобретена им, и в каждой он бережно переложил листы сухими змеиными шкурками для предохранения от книжных червей. Каталоги и списки были, правда, только у него в голове и на всяких, ему одному понятных листочках. Печататься они начали значительно позже, уже после первой мировой войны, а частично даже после его смерти. И грустно было мне читать при описании некоторых, хорошо знакомых рукописей в конце лаконичную фразу: Disparu durant la guerre (исчезла во время войны). Современное варварство не пощадило и эту лучшую в Сирии по своему порядку коллекцию.

Чаще всего я бывал единственным читателем в Восточной библиотеке и мог проводить в ней любое время с вось-

ми до восьми. Сам Шейхо торопливо пододвигал к столику маленькую деревянную скамеечку для ног, чтобы они не застывали на каменном, особенно холодном зимой, полу, и предоставлял мне делать все, что угодно. Сам он чаще всего работал в свой скромной комнатке, через коридор напротив библиотеки, сутками просиживая за бесконечными корректурами или писанием статей для своего аль-Машрика; изредка он торопливо, с неизбежным каламом за ухом, прибегал для какой-нибудь справки; иногда он появлялся с маленькой экскурсией или отдельными туристами из знатных арабов, чаще проезжих европейцев; он показывал им свои сокровища, поминутно демонстрируя и меня как «москóби», знающего арабскую литературу. Посетители смотрели недоверчиво, нередко наивно меня экзаменовали.

Порядки в библиотеке были самые патриархальные: если я хотел взять какую-нибудь книгу домой, мне надо было только записать ее самому в большой тетради, всегда лежавшей открытой на конторке. Две зимы провел я в этой библиотеке, упиваясь богатством самых разнообразных восточных изданий и тщательным подбором европейской литературы по арабистике. Немало материалов для своей диссертации об аль-Вава я извлек отсюда; немало сообщил мне сам Шейхо, в своих разнообразных поисках часто встречавший и моего поэта. Но рукописей стихотворений аль-Вава здесь не нашлось, и по следам их я поехал в Хедивскую, как она тогда называлась, библиотеку в Каире.

Это было учреждение уже совсем другого типа. Оно занимало второй этаж большого специально выстроенного здания в восточном стиле; в первом помещался не менее знаменитый Арабский музей. Из громадного вестибюля широкая лестница вела в выставочное помещение с витринами, где располагалась исключительная коллекция старинных кораноов и хорошее собрание рукописей с миниатюрами. С той же площадки проходили и в большой читальный зал с рядом длинных столов. Посетителей было всегда довольно много, но половину их составляла учащаяся молодежь, а другую — профессиональные переписчики рукописей, сидевшие за двумя столами. Штат служащих был достаточно большой, конечно исключительно из арабов. Директором, однако, по старой традиции библиотеки с ее основания до первой мировой войны всегда



Арабский музей и библиотека в Каире. Фотография А. А. Быкова, 1960 г.

был немец, при мне — известный ориенталист Б. Мориц, мало располагавший к себе, суховатый, средних лет человек, в европейском костюме, но с неизменной феской, обязательным для иностранцев признаком государственной службы; он раз в день обходил все помещения.

Рукописи аль-Вава сейчас же нашлись, и мне их выдали, посадив за стол с переписчиками, тоже в фесках. Выдали и особую постоянную конторку, в которой надо было держать рукопись в раскрытом виде, придавив тяжелым стеклом. Я погрузился в сличение ее с привезенными из Петербурга копиями и по обыкновению мало обращал внимания на окружающих. Раз за все время ко мне подошел Мориц с каким-то незначительным вопросом по-французски.

Через несколько дней работы мне показалось, что мое появление вызывает среди переписчиков за тем же столом словно беспокойство, но я не придал этому значения. Однако в ближайший раз, после моего прихода они о чем-то пошептались между собой, затем из их среды отделился, по-видимому, старший и подошел ко мне.

Начав издалека, в длинной речи он стал излагать, что они люди бедные, живут только этим заработком, я же иностранец и могу найти себе другое занятие; они готовы предложить мне отступное, лишь бы я не отбивал у них хлеб. Я сначала не понял, в чем дело, потом, рассмеявшись, поспешил их успокоить и разъяснил, что работаю над рукописями для себя, не с целью заработка. С той поры между нами установились хорошие отношения. В большинстве это были все тихие, скромные люди пожилого возраста, обыкновенно без всякого образования, редко понимавшие то, что они переписывают; некоторые из них были большими любителями и по-своему знатоками каллиграфии, но уже не находили ей настоящего применения. Последние представители вымирающей профессии, они не могли конкурировать ни с типографским станком, ни с начинавшими только что входить в употребление фотокопиями с рукописей. Через какой-нибудь десяток лет их, вероятно, окончательно подрезала быстро распространившаяся пишущая машинка с арабским шрифтом. Иногда и среди них попадались интересные люди: один, с которым мне часто приходилось возвращаться из библиотеки домой, оказался бабидом. Он познакомил меня с каирской общиной бабидов-бехаидов; во главе ее стоял тогда давний ашхабадский учитель нашего знатока бабизма капитана Туманского.

Вообще же в Хедивской библиотеке я чувствовал себя как-то неуютно. Она была в большом порядке, имела печатные каталоги, хотя составленные несколько примитивно, но доступные и в Европе. Однако вся обстановка казалась официальной и холодной: рукописи можно было получать только поодиночке, с точной ссылкой на каталог и, значит, на какие-нибудь неожиданности и «открытия» рассчитывать не приходилось. О доступе непосредственно к местам хранения или о просмотре не попавших в каталог рукописей не могло быть и речи. Персонал, довольно многолюдный и исполнительный, все же производил впечатление чиновников с малым интересом и пониманием хранимых ими сокровищ. Поэтому при всем богатстве Хедивской библиотеки она дала мне как-то сравнительно мало и «для души» и для науки. Покончив со сличением заранее намеченных рукописей, я поспешил перебраться в библиотеку аль-Азхара, высшей мусульманской школы, основанной еще в X веке.

Здесь картина была совершенно иной. Количественно по своим рукописям библиотека не уступала Хедивской и в системе хранения стремилась всячески ей подражать, начиная с каталога и типа шифровки. Однако каталоги существовали только в рукописном виде и за пределами аль-Азхара нигде не были известны. Что ни строчка, здесь можно было натыкаться на совершенно никому неведомые перлы, и один беглый просмотр увлекал, как самый интересный авантюрный роман. Внутренняя жизнь рукописного отделения при его богатстве складывалась достаточно примитивно. Все рукописи помещались в одной старинной, приспособленной для этого «куббе» — мавзолее, где находилась и канцелярия, куда в перерыв заходили иногда шейхи-профессора. Своеобразная архитектура плохо вязалась с обычными европейскими книжными шкафами, восточные диваны из подушек по стенкам — с шаблонными венскими стульями.

Ведал рукописями один шейх, у которого было много и других обязанностей; в его отсутствие ключи оставались в канцелярии, мне обыкновенно открывали шкафы и предоставляли в них рыться. Днем я занимался преимущественно общим просмотром, так как в помещении было слишком суетливо и все приходящие надоедали мне вопросами; на ночь я без особого труда выпрашивал у шейха отдельные рукописи себе на дом. Опять они совсем оттеснили людей, я только жалел, что все не хватает времени и приходится работать постоянно в лихорадочной спешке. Открытия точно торопились обогнать одно другое и часто заставляли меня вспоминать Петербург и В. Р. Розена: то мне попадался еще один том историка ас-Сулия, которого он когда-то нашел в Публичной библиотеке, то неизвестное сочинение его любимца философа-скептика Абу-ль-Аля, то рассказ про еретика аль-Халляджа, о котором когда-то он делал доклад. Я тонул в этом море, торопливо делал выписки, иногда ограничивался одними заглавиями, надеясь, что еще когда-нибудь попаду в Каир.

В третью большую библиотеку здесь я не проник, так как владелец ее был в отъезде. Она стала известной позже, а впоследствии по завещанию даже попала в состав бывшей Хедивской, теперь Египетской, библиотеки. Тогда она была знакома только немногим любителям вроде Зейдана, от которого и я про нее узнал. Принадлежала

она Ахмеду Теймуру паше; оба сына его со временем приобрели крупные имена в литературе — один как создатель египетской драмы, второй — новеллы. Отец их — библиофил и знаток рукописей — составил исключительное собрание, где каждый экземпляр сопровождался его описанием, а иногда и целым трактатом владельца. Едва ли не половина их представляла ценнейшие уники, но со всем этим я мог познакомиться только значительно позже, заочно, по переписке с владельцем.

Бейрутские и каирские сокровища могли заслонить все другие собрания, которые мне довелось видеть в Сирии и Египте, но и те живо стоят у меня перед глазами. И в европейского типа библиотеке Александрии я пережил немало волнений от своих находок; в иерусалимской заброшенной библиотеке имени аль-Халиди особым чувством меня наполняла мысль, что основатель рода был знаменитый Халид ибн аль-Валид, завоеватель Сирии в VII веке; в строгой, но очень систематической библиотеке маронитской митрополии в Алеппо я видел, как бережно хранители относились к наследию и памяти одного из первых деятелей литературного возрождения в Сирии XVIII века Германа Фархата. И каждая библиотека, большая и маленькая, скромная и богатая, имела свой облик, каждая встречала приветливо пришедшего в нее, с интересом и радостно открывала свои сокровища. Только в былой столице Омейядов, Дамаске, испытал я раз огорчение, но судьба со временем загладила и его, направив мне те самые рукописи, которые хотели от меня скрыть. Попадалось мне много и домашних маленьких собраний, тоже иногда доставлявших радость. Некоторые неожиданно иллюстрировали какую-нибудь деталь из истории арабской культуры и литературы.

В крохотной деревушке на Ливане у скромного школьного учителя я обнаружил случайно полный подбор арабских национальных словарей и вообще старой и новой грамматической арабской литературы. Это еще неудивительно, так как учитель был большой любитель и знаток такого рода произведений. Однако гораздо удивительнее, что всю эту литературу он знал наизусть, и, пожалуй, самое удивительное то, что он был слеп от рождения и запомнил все эти книги на слух после прочтения ему раза два. Проверяя его в разных местах по 20-томному словарю «Лисан аль-араб» (Язык арабов),

я впервые ясно понял, как слепой Абу-ль-Аля мог запомнить случайно прослушанное им письмо на неизвестном языке.

Так неожиданно и причудливо переплетались, часто неразрывно, в моих скитаниях по Востоку люди и книги. Но чем дальше шло время, тем больше книги оттесняли людей. Ведь меня на Востоке поглотили не только рукописи; здесь впервые, правда в разбросанных библиотеках, я имел в своем распоряжении все арабские издания за все время от возникновения печати до наших дней, из всех стран Старого и Нового Света. Впервые, наконец, передо мной открывалась здесь вся новая арабская литература, о которой до поездки на Восток я имел более чем смутное представление, а в Европе ее знал, вероятно, только один Мартин Хартманн.

Книги вводили меня в новый мир и показывали мне людей легче и быстрее, чем это удавалось мне самому при непосредственном наблюдении. Понятно, что с книгами я чувствовал себя свободнее, чем с людьми.

Так книги, не первый раз уже в моей жизни, вступили в борьбу с людьми. Победа осталась за ними, и победа эта, думалось мне, была окончательной. Жизнь, однако, меня научила, что людей нельзя отделить от книг; книги опять привели меня к людям, и только тогда я понял по-настоящему историю нашей науки.

2. Грамматический трактат или антирелигиозный памфлет?

(1910—1932)

Пребывание мое в Каире подходило к концу, а мне все еще не хотелось оторваться от рукописей библиотеки аль-Азхара — высшей школы всего мусульманского мира. Если в Хедивской библиотеке я мог заранее познакомиться с печатными списками, то здесь краткие инвентари существовали только в рукописном виде в одном экземпляре и манускрипты для просмотра приходилось выбирать спешно в самой библиотеке по случайным и даже ошибочным иногда заглавиям.

В последние дни, в начале января 1910 года, попался мне какой-то «трактат о флексии» Абу-ль-Аля, слепого

философа-поэта. Заинтересовал меня трактат не сам по себе: его автор был хорошо мне известен, и я собирал без особой цели все, что могло к нему относиться. Он как бы по наследству перешел ко мне от моего учителя В. Р. Розена, который в последние годы жизни увлекался этим остроумно-язвительным скептиком: он проникал до глубины человеческой души тонким анализом пессимиста, своей мягкой иронической улыбкой затушевывая горькую безнадежность тяжелых мыслей.

В найденном теперь трактате я, конечно, не рассчитывал встретить что-нибудь новое для характеристики самого Абу-ль-Аля и только недоумевал, почему так редко упоминается это сочинение и совсем неизвестны другие его рукописи. Удивлялся со мной и выдававший рукописи шейх аль-Махмасани, один из хранителей библиотеки, с которым мы частенько беседовали о всяких литературных сюжетах и даже о том, трудно ли научиться французскому языку, что было уже известным вольнодумством с его стороны. Он чувствовал ко мне особую симпатию: в аль-Азхаре ему были подчинены мусульмане из России, и он внутренне как бы распространял свою опеку и на меня.

По внешности рукопись не представляла интереса. Это была обычная копия профессионала-переписчика XIX века с какого-то мединского оригинала, который он, по-видимому, не всегда грамотно разбирал. Зато с первых же строчек мне стало ясно, почему сочинение было так мало известно: если бы у арабов существовал какой-нибудь индекс запрещенных книг, трактат занял бы в нем почетное место. Действительно, в сочинении по внешности речь идет о грамматических сюжетах, причем разбирается правоверный и популярный вопрос о разных формах склонений имен ангелов с обычными цитатами из Корана и стихов, с упоминанием крупных авторитетов, с бесчисленными литературными намеками. Однако это лишь оболочка: все проникнуто тонкой иронией, уловить которую нелегко, если не знать литературного кругозора Абу-ль-Аля, если не чувствовать типичных для него приемов построения, безукоризненно маскирующих перед непосвященным смелую мысль. На самом деле в этом с виду традиционном грамматическом трактате скрыт остроумный и язвительный памфлет на мусульманские представления об ангелах — прием, к которому Абу-ль-Аля прибег и в другом известном произведении — «Послании о прощении», где с такой же изящной иронией он осмеял традиционные описания загробной жизни.

Я торопился пробежать строки малограмотного переписчика, мучительно стараясь восстановить сквозь его искажения мысли автора; иногда неожиданно какой-то яркий луч открывал мне затаенный намек, мимо других фраз я должен был проходить с беспомощным непониманием, не имея уже возможности рассеять его в немногие остающиеся у меня часы в Каире. Мне приходилось ограничивать себя торопливыми краткими выписками. Возвращая рукопись в последний раз в спешке накануне своего отъезда шейху аль-Махмасани, я только сказал ему: «Если прочитаете когда-нибудь, поймете, почему это сочинение было так мало известно».

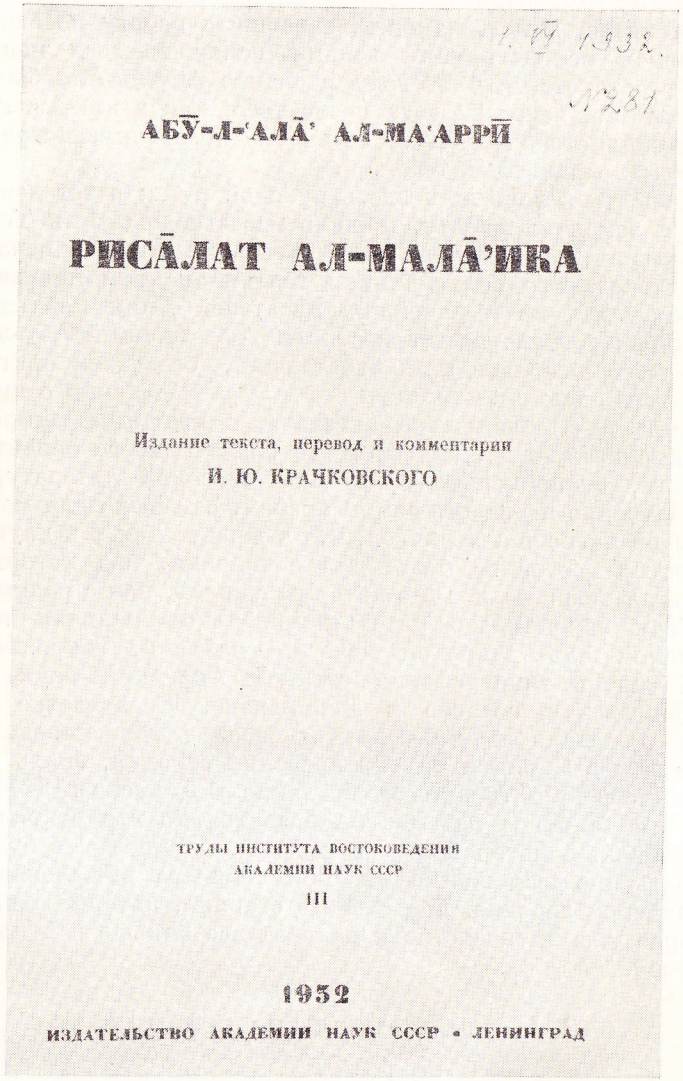
Поезд отходил рано утром; в последнюю минуту я с недоумением заметил шейха, который, запыхавшись искал меня. К изумлению стоявших на перроне он успел только прокричать в окно уже двигавшегося вагона: «Я всю ночь не спал; удивительно, как Абу-ль-Аля не сожгли вместе с его посланием!» Я без объяснения понял, что и ему стал ясен смысл этого «грамматического трактата».

Много лет прошло прежде, чем мне удалось проникнуть во все намеки слепого скептика, расшифровать все его литературные цитаты и реминисценции, но я никогда не забывал своего маленького открытия и только горевал, что В. Р. Розен до него не дожил; это было бы двойным праздником для нас обоих. Позже я получил из Каира полную копию рукописи, которую по моей просьбе заказал известный журналист, переводчик Толстого, Селим Кобейн. Пересылая мне список, он, увы, с гордостью сообщал, что наконец-то нашел самую лучшую бумагу и чернила. Как и следовало ожидать, копия, каллиграфически снятая не понимавшим оригинал переписчиком, мало мне помогла в тех местах, которые оставались для меня загадочными.

Летом 1914 года мне казалось, что я близок к завершению своего труда: в Лейдене, в уютной маленькой зале университетской библиотеки, рядом со знаменитым среди арабистов с XVII века рукописным собранием Legati Warneriani (Варнеровского фонда), под взорами старинных портретов Скалигера и Гуго Гроция, я погрузился во вторую, ставшую мне известной, рукопись «Послания об ангелах». Она была значительно интереснее, прежде

всего потому, что относилась к XVI веку, а кроме того, представляла автограф полигистора дамаскинца, того самого, дневник которого помог когда-то В. В. Бартольду осветить некоторые моменты турецкого завоевания Сирии и Египта. Много отдельных мест она мне разъяснила, и я с удовольствием видел, что близок час, когда я буду в состоянии вернуть арабам забытый ими трактат в печатном виде, без искажений, внесенных переписчиками.

Но судьба и на этот раз была немилостива к Абу-ль-Аля. Вспыхнула первая мировая война, и я добрался до родины без всех моих материалов, которые пришлось оставить в Голландии. Вернулись они ко мне только через десять лет, когда человечество перешло уже в новый этап своей истории. Для меня они не умирали ни на минуту, и с чувством хорошо знакомого волнения я опять пересматривал копии рукописей, записи и всякие листочки об Абу-ль-Аля. Восстанавливая с трудом и упорством международные научные связи, я к этому времени нашел неожиданно сотрудника в работе, такого же, как В. Р. Розен и его младший ученик, энтузиаста и поклонника этого слепца. То был египетский паша Ахмед Теймур, владелец лучшего в Каире частного собрания рукописей, составленного с редким знанием дела, с громадной любовью. Он всегда с удивительной щедростью открывал ученым всех стран свои сокровища и с редкой скромностью становился как бы сотрудником своего корреспондента, если чувствовал в нем вкус к арабской литературе. В его собрании нашлась еще одна рукопись «Послания об ангелах», и между Каиром и Ленинградом завязалась оживленная переписка. Опять поднялось обсуждение разных вариантов, конъектур, намеков. На аккуратных, продолговатых четвертушках бумаги старческим, но каллиграфически изящным и твердым почерком, неделя за неделей слал мне Теймур паша свои выписки и соображения в ответ на мои вопросы или на приходившие ему самому в голову мысли. И каждый раз все с тем же волнением я открывал конверт и часто находил в нем все новые и новые открытия, иногда видел, как просто найденный неожиданно стих или подвернувшаяся пословица разъясняют мучивший нас годами намек Абу-ль-Аля. В сдержанных строчках писем Теймура я чувствовал, какую радость переживал он сам, воссоздавая произведение великого предка.



1.VI 1932.
1281

АБӮ-Л-'АЛӐ' АЛ-МА'АРРӢ

РИСӐЛАТ АЛ-МАЛӐ'ИКА

Издание текста, перевод и комментарии
И. Ю. КРАЧКОВСКОГО

ТРУДЫ ИНСТИТУТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
АКАДЕМИИ НАУК СССР
III

1932

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР • ЛЕНИНГРАД

Титульный лист издания трактата Абу-ль-Аля аль-Маарри. Трактат найден И. Ю. Крачковским в библиотеке аль-Азхара в январе 1910 г.

Летом 1926 года в уединении Черноморского побережья на Кавказе, я мог, наконец, завершить работу по своеобразной реконструкции веками искажавшегося непонятного текста. В 1932 году послание Абу-ль-Аля было напечатано, через 22 года после того, как в аль-Азхарской библиотеке я получил от шейха невзрачную тетрадку с малограмотным списком.

Радость и горе шли здесь рука об руку: в тот день, как я закончил работу, пришло известие о смерти Теймура паши, которому так и не удалось увидать наш печатный текст. Его соплеменники теперь оценили произведение. Один из крупнейших писателей Амин Рейхани, по характеру творчества несколько родственный Абу-ль-Аля и много над ним работавший, отозвался оригинальным письмом. Стилизуя его в духе «Послания о прощении» и «Послания об ангелах», с изящным юмором он высказал от лица последнего благодарность ориенталистам, оживляющим памятники арабской литературы на поучение и радость самим арабам. Это было для меня лучшей наградой: я увидел, что в жизни, как и в науке, нашлось достойное место для сочинения, над которым работал двадцать лет и с которым сжился, как с родным.

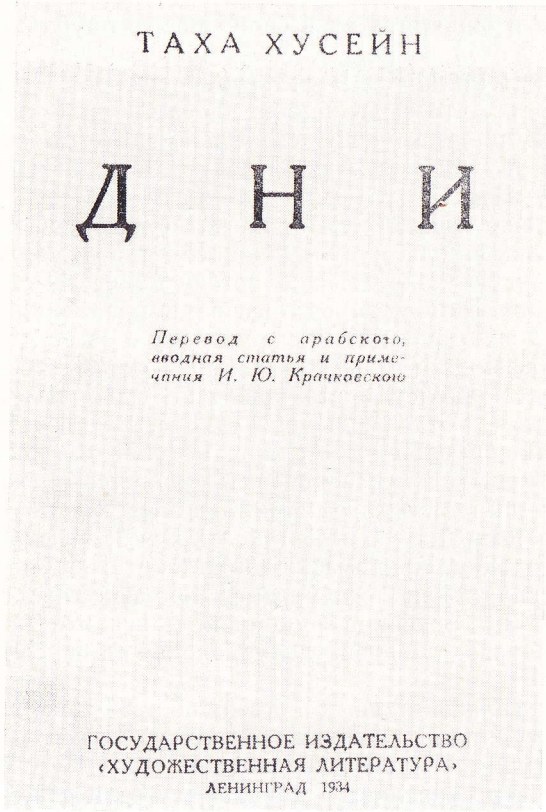
Так закончилась история маленькой находки под куполом аль-Азхарской мечети,— находки, закрепленной теперь типографским станком Академии наук на Васильевском острове в Ленинграде. Тысячелетие со дня рождения Абу-ль-Аля, отмеченное торжественным юбилеем в Сирии и других арабских странах, опять заставило вспомнить и про это послание. В Дамаске в 1944 году вышло новое издание на базе только что открытой рукописи, о которой я уже не знал. И много еще будут писать про «заложника двойной тюрьмы» в маленьком сирийском городке, про слепого старика, который живет второе уже тысячелетие и находит все больше и больше друзей.

3. Ненаписанная диссертация

(1910)

«Погибла юность достославно, владычица чудес; о если бы ее догнал бег летящих взапуски коней!»

Целый день сегодня почему-то звучит у меня в ушах этот стих арабского поэта и невольно вспоминается мне


ТАХА ХУСЕЙН

Д Н И

Перевод с арабского, вводная статья и примечания И. Ю. Крачковского

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ЛЕНИНГРАД 1934

Титульный лист издания перевода первой части повести Таха Хусейна

январь 1910 года, когда второй уже раз я возвращался из Каира в Бейрут.

«Город биржи и хлопка» Александрия мало меня интересовал; он издавна больше напоминал Запад, чем Восток, но все-таки я решил на несколько дней задержаться там. Мне хотелось познакомиться с Хабибом Зайятом, который в свободные минуты от дел по торговле сухими фруктами, раскинувшейся по всему миру, ухитрялся с тонким чутьем знатока и любителя извлекать из старых рукописей забытые картинки неведомых сторон арабской

культуры и оживлять их в своих позже опубликованных статьях. Хотел я пересмотреть и рукописи городской библиотеки. Романист и литературовед Зейдан говорил мне в Каире, что сюда попала часть библиотеки второго хедива, Ибрахима паши, сына знаменитого основателя династии Мухаммеда Али. Письмо Зейдана сразу мне открыло ее двери.

Весь еще проникнутый впечатлениями аль-Азхара, этой высшей школы мусульманского мира, я увидел здесь совсем другую картину. Библиотека помещалась в новом европейском здании городского самоуправления; восточный отдел занимал одну большую залу с обычными книжными шкафами по стенам и длинным столом посередине. Других посетителей в это время не было, и хранитель охотно открыл отдел для меня одного. Ведал им молодой шейх, учившийся в аль-Азхаре, но если бы не его египетский костюм — своеобразный коричневый халат без ворота с широкими рукавами,— в нем трудно было бы признать выходца из этой школы. Очки, подстриженная клином бородка, французский язык, который, по-видимому, составлял для него предмет большей гордости, чем хранимые им арабские рукописи, — все это на первых порах производило впечатление, словно он переодетый европеец.

Однако арабский язык и беседа об арабской литературе быстро стряхнули внешнюю оболочку, может быть навеянную общим стилем Александрии.

Рукописи оказались в порядке и имели даже краткий список, составленный по типу аль-азхарского, правда, без выделения печатных изданий и манускриптов. При несомненно благих стремлениях быть на высоте европейских требований шейх все же имел слабое понятие о ценности вверенных ему сокровищ. Надежда, однако, меня не обманула: среди двух десятков заслуживавших внимания рукописей оказалось два настоящих перла-уника из области особенно тогда меня интересовавшей арабской поэзии. Одна сохранила стихи младшего современника знаменитого сирийского историка Абу-ль-Фиды; поэт — большой патриот своего отечества, восторженный панегирист знакомого и мне города Хама с его садами и неумолчно звучащими «наурами», иногда бросал даже литературный язык и переходил к родному разговорному диалекту Сирии. Не торопясь, я сделал несколько выпи-



Таха Хусейн

сок. Лет через пять я опубликовал их; сама рукопись и до сих пор остается уником.

Она почему-то не слишком меня взволновала, зато вторая рукопись надолго нарушила мое равновесие. Просмотр ее я отложил на последние дни своего пребывания в Александрии, когда взял уже билет на пароход. Получив ее в руки, я с удовольствием стал рассматривать этот, как мне показалось, образчик каллиграфического искусства. Рукопись была датирована VI веком хиджры и носила все следы принадлежности к школе знаменитого Ибн аль-Бавваба. На странице небольшого формата помещались едва три-четыре стиха, выписанных артистически очень крупным шрифтом с полной огласовкой и всеми знаками чтения. По оригинальному приему каллиграфов стих, не входивший в строку, загибался вверх более мелким шрифтом, и эта своеобразная асимметрия как-то приятно оживляла рисунок. Краски, главным образом зеленого тона, несколько поблекли от времени и на них

спокойно отдыхал глаз. Произведение принадлежало несомненно крупному мастеру своего дела и было выполнено не только со всей тонкостью детально выработанного искусства, но и с полной свободой настоящего артиста.

Вчитываясь постепенно в рукопись, я, однако, быстро забыл про ее внешность и весь был захвачен содержанием. Предо мной проходили стихи талантливого поэта арабской древности, несомненно еще времен до ислама, с богатыми картинами бедуинской жизни, которые с точностью почти фотографии воспроизводили в конкретных деталях всю обстановку и среду. Они были построены в строгом стиле древнеарабских касыд, с подчинением выработанному канону композиции. Иногда рельефные рисунки перемежались нотами рефлексии, и начало одной пьесы — «Погибла юность достославно, владычица чудес; о если бы ее догнал бег летящих взапуски коней!» — сразу врезалось мне в память. Имя Селямы ибн Джандаля, как поэт был назван в рукописи, очень смутно мне припоминалось. Конечно, он не принадлежал к плеяде авторов знаменитых «муаллак» или «диванов», так называемых «шести», но крупный по-своему талант чувствовался в каждом стихе. С возрастающим волнением я разбирал строку за строкой и с трепетом ощущал, что на мою долю выпало некоторое открытие в науке. Никаких привычных нам европейских пособий в библиотеке не было: не имел я под руками во время своих скитаний и всем арабистам близкого Брокельмана, но я был уверен, что если мой поэт и упомянут где-либо, то открытая рукопись его произведений является несомненным уником. Ясно, что я не мог бросить сделанное открытие, и этот вопрос был решен в первый же день, как только я увидел рукопись. Хотя мне уже завтра предстояло ехать и билет на пароход был взят, но он сейчас же после этого посещения библиотеки был мной переменен на следующий рейс. Мне надо было переписать всю рукопись целиком. Два дня я провел в лихорадочной работе с каким-то экстазом к нескрываемому недоумению шейха, который в конце концов отдал мне ключ от помещения с просьбой возвращать его по вечерам, когда ухожу, сторожу.

Я сел на пароход точно в затмении, весь в мыслях о доисламской Аравии, но зато с полной копией стихов Селямы ибн Джандаля, которая точнейшим образом воспроизводила все детали александрийской рукописи. Когда мы ночью проходили мимо Яффы, я не мог спать; расхаживая по палубе, я думал не об аромате знаменитых апельсиновых садов, который за несколько километров по морю доносится по временам до парохода, а о том, как хорошо было бы написать диссертацию об этом поэте. В мечтах мне уже виделось, с одной стороны, исследование реальной обстановки, где сложились песни Селямы ибн Джандаля,— исследование в стиле недавнего труда Якоба о древнеарабской бедуинской жизни, а с другой — анализ поэтического творчества в развитие мыслей Шварца об одном поэте раннего ислама в той его книге, которая только что, в 1909 году, увидела свет. Тема для магистерской диссертации у меня, правда, была и работа наполовину готова, но Селяма ее вытеснил: молодому арабисту было простительно желание поскорее заявить о своем открытии, закрепить приоритет и найти своему труду скромное место на полочке с историей науки. Подходя на пароходе к Бейруту, я окончательно решил отложить первую тему и сосредоточиться на новой, тем более, что она требовала, как мне казалось, и меньше времени.

Понятно, с каким волнением и немалой долей гордости утром еще до восьми часов я уже торопился к своему бейрутскому профессору — арабу Люису Шейхо в Университет св. Иосифа, массивное здание которого господствовало не только над кварталом, где я жил, но выделялось и во всем городе. Мой учитель, сам витавший в мире книг и рукописей, хорошо понимал чувства такого рода. Я знал, что он разделит мою радость и мое волнение. Я был уверен, что найду его дома — либо в скромной келье за писанием и нескончаемыми корректурами редактируемого им журнала аль-Машрик, либо в уютной Восточной библиотеке, в том же этаже, которая и для меня служила обычным местопребыванием: туда, кроме нас двоих, обыкновенно только на минуту заглядывал кто-нибудь из профессоров Восточного факультета.

Действительно, Шейхо сидел у себя за корректурами очередного номера. После первых фраз, обратив внимание, что перед ним лежат какие-то стихи, я спросил, что это за статья.

— «Да вот издаю диван Селямы ибн Джандаля». Совершенно потрясенный, я мог только еле-еле прошептать вопрос: «По александрийской рукописи?» Шейхо с недо-

умением взглянул на меня и, сказав — «нет, по стамбульской», в свою очередь спросил, что меня так взволновало. Несколько придя в себя, я рассказал, с чем к нему шел. Его изумлению тоже не было границ, он только взмахивал руками и восклицал: «Удивительное дело!» Мы бросились сличать рукописи; они оказались родными сестрами, из одной школы, с близкой датой. Не менее удивительно было и обстоятельство, послужившее толчком для работы Шейхо: за несколько месяцев до этого известный французский ориенталист К. Хюар напечатал в «Journal Asiatique» (Азиатский журнал) те же стихотворения Селямы по той же стамбульской рукописи. Он не был крупным арабистом, и работа вышла не блестящей; тогда Шейхо, в давние годы сам снявший копию, решил дать более критическое издание. Об александрийской рукописи он, конечно, не подозревал. Я мог только передать в его распоряжение свой список, который пригодился для ряда деталей. Так, задуманная диссертация навсегда осталась ненаписанной, а приоритет сразу утратил всякое основание. Издание Шейхо вызвало несколько мелких статей и заметок, но большой работы о Селяме в том духе, как я мечтал на пароходе, не появилось и до сих пор.

И вот теперь, когда заходит речь о роли случайности в науке, я всегда вспоминаю, как одновременно французский, арабский и русский ученые занялись в разных странах одним и тем же арабским поэтом по одним и тем же рукописям. А когда я встречаю стихи Селямы или его имя, у меня сразу встает перед глазами и тихая зала в шумной Александрии, и молодой шейх с французской бородкой, и каллиграфически переписанная рукопись с крупными буквами зеленоватого тона с золотым отливом, а в ушах неумолчно звучит:

«Погибла юность достославно, владычица чудес; о если бы ее догнал бег летящих взапуски коней!»

И только иногда где-то в глубине шевелится мысль: а может быть все-таки жалко, что я не написал диссертации о Селяме ибн Джандале?

4. Рукописи двух патриархов или сбывшееся предсказание

(1900—1927)

Мое детство с самых ранних лет связано с очень оригинальной библиотекой, где проходили все мои каникулы. В маленьком имении, среди всяких хозяйственных построек неподалеку от жилого дома, рядом с конюшней и сеновалом стоял погреб-ледник. Массивные каменные стены квадратного здания были выведены во всю высоту первого этажа, который и служил своему непосредственному назначению. На второй этаж, уже деревянный, вела наружная лестница; там находилась одна большая жилого вида комната, в которой, однако, ничего кроме книжных шкафов и полок не было; дополнением к ним служили круглый и рабочий стол со стульями и узенький диван. Вся мебель была старинная, светло-ясеневого дерева, с такой же старинной обивкой. Стеклянная дверь и два окна открывали вид на сад при жилом доме с двумя громадными «екатерининскими» липами, которые высились над всей округой на несколько верст. В другую сторону широкий горизонт охватывал луга, речку и пруд с мельницей; вдали чернели леса. Здесь я дневал, а иногда и ночевал, устраивая свою несложную постель на диванчике.

В давние гимназические годы, поглощая без передышки стоявшие здесь полные комплекты «Русского архива», «Русской старины» и других подобных журналов, я случайно наткнулся в только что вышедшей книжке «Чтений Общества истории и древностей российских» на поразивший меня старинный портрет. Подпись гласила, что это Макарий, патриарх антиохийский; из текста я тогда впервые узнал, что он дважды приезжал в Россию при Алексее Михайловиче, но многое из прочитанного мне осталось неясным и прежде всего, как патриархом мог быть араб. «Ведь арабы — мусульмане», думал я наивно, но здесь же мне вспоминался «Иоанн Дамаскин» А. Толстого, и недоумение усиливалось, не говоря о том, что я не понимал, почему антиохийский патриарх выезжал из Дамаска. Только через много лет я узнал, что арабы-христиане играли важную роль в халифате, а история их представляет любопытнейшую страницу арабской куль-

туры. Тогда все это было для меня смутно, как и непонятная арабская подпись под портретом, воспроизведенная рядом с греческой. Самый портрет, на котором была изображена немного сгорбленная фигура с резкими, даже суровыми чертами лица, навсегда запечатлелся в юношеской памяти, сохранившей его до того времени, когда лет через десять, я увидал в живе преемника этого антиохийского патриарха в Дамаске и беседовал с ним о рукописях патриарха Макария.

Судьба самой библиотеки-ледника оказалась печальной. Она продолжала служить моим летним местопребыванием и в годы студенчества до поездки на Восток, но потом все реже и реже удавалось ее посещать. Последний раз я побывал в ней в июле 1915 года и покинул ее с тяжелым чувством, под глухо доносившийся гул артиллерийской канонады. Тогда я все же не предвидел, что через несколько месяцев и здание и книги будут уничтожены немецкими войсками. Портрет патриарха из того экземпляра уцелел только в моей памяти.

Когда гимназист превратился в студента, черты этого портрета стали как бы оживать. Я узнал, что путешествие было описано сыном патриарха Павлом Алеппским, что оно является очень важным источником для внутренней истории Московской Руси, что дамаскинец — московский профессор Муркос — перевел его на русский язык. Еще позже, когда в душу мне проникла неизлечимая отрава страсти к рукописям, я узнал, что перевод его сделан по новым спискам середины XIX века, а оригинал их 1700 года погиб, как предполагалось, во время резни дамасских христиан в 1860 году. Скитаясь по Сирии, я часто вспоминал об этом, и среди сотен заманчивых мечтаний у меня иногда всплывала мысль: «А хорошо было бы русскому ученому найти старую рукопись путешествия Макария в Россию!» Два года в этом смысле прошли бесплодно. Я успел за это время специально навестить доживавшего свой век на покое в Сайднае около Дамаска русского переводчика, но он ничего нового не смог мне добавить. Все-таки я не хотел вернуться на родину, не сделав еще раз попытки проникнуть в библиотеку антиохийского патриарха Григория аль-Хаддада; про нее ходили самые фантастические слухи, и многие называли всякие диковинки, которые якобы там имелись, но всегда с какой-то усмешкой добавляли, что Хаддад хитер и

перехитрит всякого, лишь бы не показать своих сокровищ. Мне как-то плохо этому верилось: привыкнув за два года к большому радушию и мусульман и «франджей», с полной охотой демонстрировавших свои собрания приехавшему из-за тридевяти земель «мусташрику»-ориенталисту, я с трудом допускал, что преемник Макария укроет их перед русским, который с детства чтил это имя.

Моя первая поездка в Дамаск все же оказалась неудачной; патриарх находился где-то в отъезде. Злые языки передавали мне потом, что он вернулся в тот самый день, как я уехал, но и это я относил за счет обычных пустых разговоров. Вторично, уже готовясь к возвращению в Россию, я все-таки не утерпел, чтобы не побывать еще раз в былой столице омейядских халифов, главным образом с той же целью. Теперь я решил действовать официально, чего обыкновенно избегал, и обратился за содействием к русскому консулу; им был тогда довольно известный собиратель халдских древностей, товарищ по университету одного из моих профессоров. Хотя он хорошо понимал мои чувства, но и в прошлый раз предупреждал почти в тех же выражениях, как все обитатели Сирии, что «Хаддад — хитер».

С тем большей радостью я узнал по приезде, что аудиенция у патриарха назначена мне на следующий же день. Происходила она, к сожалению, в торжественной обстановке с большим числом приглашенных и сводилась скорее к демонстрации меня, чем к разговору о рукописях. Я старался быть настойчивым и, говоря о главной цели своего приезда, добился частного приема через два дня. Мои опасения начали рассеиваться, когда в назначенное время я увидел патриарха в домашней обстановке в присутствии только начальника школ и секретаря. Он мало напоминал своего предшественника XVII века; невысокого роста, полный, круглолицый, он представлял хорошо мне знакомый тип современного восточного «князя церкви». Неприятно действовала беспокойно-льстивая любезность и даже обычные арабские фразы «наш дом — ваш дом», «все мы под вашим повелением» звучали как-то особенно фальшиво. От разговора о рукописях на этот раз он все же уклониться не мог, и, беседуя о них, обнаруживал несомненное знакомство с литературой, главным образом арабов-христиан, что в тот момент было для меня особенно важно. На вопросы, которые я ставил по временам

в упор, он отвечал все-таки уклончиво, иногда с какой-то очень мне не нравившейся скрытой усмешкой: «Кажется, у меня это есть», «Слыхал я, что имеется как будто бы в Алеппо», «Кто-то мне показывал», говорил он. Когда я, не утерпев, сказал, какие слухи ходят у нас о рукописи путешествия Макария 1700 года, опять на его устах промелькнула сдержанная улыбка, и он полузагадочно заметил: «Ну что ж, не все рукописи тогда сгорели». Так и в этот день ничего мне не было показано: во внутреннем помещении шел якобы ремонт, и книги были сложены в ящиках. Я прибег тогда к фантастическому доводу: через несколько недель мне надо возвращаться в Россию и там будут очень недовольны, когда узнают, что я видел собрания и аль-Азхара в Каире, и Университета св. Иосифа в Бейруте, и маронитского митрополита в Алеппо, но мне не показали в Дамаске знаменитой библиотеки антиохийского патриарха, большого друга России. Я полагал, что на этот раз перехитрил прославленного хитреца. Он на минуту точно задумался и все с той же раздражавшей меня сдержанной улыбкой сказал: «Все мы всегда под вашим приказом — я скажу, чтобы завтра ящики открыли, и в четверг вам покажут все, чем наградил Аллах дом этого бедняка». Я почувствовал себя на верху блаженства.

Два дня прошли быстро и в назначенное время я опять явился в патриархию. Подозрительными показались мне отсутствие у ворот бессменного стража — каваса, и какая-то тишина во дворе, обычно наполненном посетителями. В приемной меня встретил тот же начальник школ и с неизменной любезной улыбкой сообщил: «Его Блаженство вчера уехал на север патриархии и боялся, что без него вам не сумеют по-настоящему показать рукописи, так что не велел их раскрывать».— «Но ведь позавчера-то он знал, что ему придется уехать?» — не очень вежливо спросил я.— «Владыка очень извинялся и поручил мне узнать, нет ли у вас каких-либо пожеланий»,— прежним льстивым тоном осведомлялся, точно не расслышав меня, монах. В полном раздражении, не помня себя, я отчеканил: «Передайте владыке, что напрасно он так прячет свои рукописи, они все равно попадут в мои руки».

На следующий день я уехал из Дамаска и вскоре вернулся в Россию, совершенно позабыв про неожиданно вырвавшуюся у меня фразу, непонятную и для меня самого. Однако народное поверие говорит, что проклятия и пожелания, вспыхивающие огнем как бы непроизвольно в моменты возбуждения, часто оправдываются. Я, конечно, никогда не думал, что окажусь пророком, а тем менее, что сам патриарх будет ближайшим виновником осуществления того, за чем я приезжал в Дамаск.

В 1913 году праздновался юбилей дома Романовых; на торжества был приглашен и антиохийский патриарх Григорий аль-Хаддад. Мне неоднократно передавали после его приезда в Петербург, что он хотел бы меня видеть и будет рад, если я его посещу. Помня живо свои дамасские настроения, я предпочитал его забыть и не ответил на приглашение. По газетам было известно, что он привез семье Романовых какие-то дары с Востока, иногда поминались и книги, но я не придавал этому серьезного значения. После его отъезда слухи стали настойчивее; начали упоминать про восточные рукописи, и мною опять овладело старое беспокойство. Путем различных справок удалось установить, что после юбилея и отъезда патриарха какие-то восточные рукописи действительно были переданы в «собственную его величества библиотеку» в Зимнем дворце. Не легко было мне — молодому приват-доценту — проникнуть туда; все же настойчивость Академии наук, поддержавшей мои стремления, помогла преодолеть все препоны, чинимые министерством двора, полицией и дворцовой охраной. Я получил разрешение являться в определенные часы, конечно, если царской семьи не было в Петербурге. Сложными подвальными переходами, в сопровождении особой охраны доставляли меня в помещение библиотеки, где я поступал уже под наблюдение библиотечного штата. Во главе библиотеки стоял тогда сановник-камергер, бывавший не каждый день; его помощником являлся какой-то полковник; обоим цель моих занятий казалась недостаточно ясной. Может быть поэтому за стол напротив меня садился чиновник с французским романом, внимательно следивший за тем, что я делаю. Условия работы были мало удобны: выдавалось не более одной рукописи, и вторично ту, которая уже просматривалась раньше, нельзя было получить. Листы были, конечно, не перенумерованы, что крайне усложняло ссылки; почему-то не разрешалось даже измерять формат рукописи. Никаких пособий в библиотеке не было, и приносить с собой ничего не позво-

лялось. Все сделанные заметки тщательно просматривались и не всегда сразу выдавались, как я потом случайно узнал, чтобы иметь срок для проверки экспертом, не кроется ли в моих арабских записях какого-нибудь шифра. Все эти стеснения мною были, однако, забыты почти с того момента, как в руки попала первая рукопись, и я стал лихорадочно торопиться с просмотром, чтобы поскорее узнать, какую неожиданность таит следующая.

Патриарх поднес больше четырех десятков манускриптов — целую коллекцию, составленную с несомненным знанием дела из выдающихся экземпляров, в большинстве случаев уников. Они великолепно характеризовали разнообразные стороны литературы арабов-христиан. Около половины их занимали сочинения Макария Антиохийского или его сына Павла Алеппского, обыкновенно в автографах последнего; он был выдающимся каллиграфом. Колофон на одном из манускриптов говорил, что переписка заполняла невольные досуги в Коломне во время чумы, когда Алексей Михайлович ходил войной на «ляхов». У меня буквально задрожали руки, когда в другой только что выданной рукописи я увидел список путешествия Макария 1700 года, который считался сгоревшим; он нисколько не пострадал и лежал теперь передо мной в полной сохранности со своим аккуратным, типичным для XVII века, почерком. Не успевал я опомниться от одной неожиданности, как следующая рукопись уже приносила другую. Мне делалось ясно, что с этой коллекцией наша страна получает собрание христианско-арабских памятников, не уступающее по качеству старым и новым фондам Парижа, Ватикана, Бейрута. Передо мною вырисовывался план основательного Catalogue raisonné — научного каталога с привлечением параллелей из других собраний, с большими показательными выписками, с приложением полного списка работ Макария и Павла. Все это было, конечно, еще впереди, а пока работа в Зимнем дворце двигалась медленно: она часто прерывалась приездами царской семьи или невозможностью являться в те часы, которые для меня назначались каждый раз по-иному. Все же я постепенно просматривал и другие петербургские собрания в поисках параллелей, так к лету 1914 года предварительный список дворцовой коллекции был в общем закончен; каждую минуту я чувствовал, что ей в Зимнем дворце совсем неподходящее место.

«Отогнаніе заботы» Иліи Нисибисскаго (Graf[1] — 64 - 66. Ср. № 38 II).

XII. 202[v]—230[v]. اقوال منسوبة الى سكندس الحكيم

Изреченія, приписываемыя философу Секунду.

XIII. 233 — до конца. غنة البيان فى ادب الفتيان من لطائف بعض علماء اليونان لصفرونيوس مطران عكا

«Подарокъ краснорѣчія» Софронія, митрополита Акки.

32.

105+82 л. и 88+104 л.

رحلة مكاريوس

«Путешествіе патріарха Макарія, описанное Павломъ алеппскимъ». 2 тома фотографій съ рукописи Британскаго Музея 1765 г. Addit. 18427—18430. (См. Catalogus Codicum Manuscriptorum Orientalium II, Londini 1846, стр. 366 № 802—805). По этой рукописи исполненъ переводъ Belfour'a; въ работѣ Муркоса она не использована.

33.

$20\frac{1}{2} \times 15$ ($15\frac{1}{2} \times 9\frac{1}{2}$). 366 л. ($36\frac{1}{2}$ куррăсовъ по 10 л.),

رحلة مكاريوس

Путешествіе патріарха Макарія. Дамасская рукопись 1700 г., оригиналъ находящихся въ Россіи, который считался сгорѣвшимъ во время дамасской рѣзни 1860 г. Отсутствуетъ л. 190 (послѣдній въ 10-мъ куррăсѣ), л. 8 замѣненъ двумя новыми.

34.

$21\frac{1}{2} \times 15\frac{1}{2}$ (рамка $17\frac{1}{2} \times 10$). 480 л. 23 стр.

الحقيقة والمحاز فى رحلة بلاد الشام والحجاز لعبد الغنى النابلسى

Путешествіе 'Абд-ал-Ганя нäбулусскаго (см. Brockelmann II, 348,70). Рукопись 1204 (1789) г.

35.

22×16 ($17 \times 11\frac{1}{2}$). 292 л. (29 куррăсовъ по 10 л.) 23 стр.

احكام باب الاعراب عن لغة الاعراب لجرمانوس فرحات

И. Ю. Крачковский. Арабские рукописи из собрания Григория IV патриарха Антиохийского. Краткая опись. Ленинград, 1924, стр. 17.

Во время поездки за границу этим же летом, я старательно обследовал отдельные сочинения Макария и в блестяще оборудованной лейпцигской университетской библиотеке, и в скромном помещении Deutsche Morgenländische Gesellschaft (Немецкого востоковедного общества) в Халле, где часто бывал единственным посетителем и должен был, уходя, класть ключ на условленное место, и в уютной тихой комнате университетского Legati Warneriani (Варнеровского фонда) в Лейдене. Эта библиотека была последним моим этапом в тот год. Здесь меня захватила война, здесь на долгие годы остались все мои материалы.

Однако раздраженное восклицание в Дамаске к моему большому изумлению оправдалось еще точнее. После Октябрьской революции, когда накопленные веками сокровища стали получать надлежащее место, я вспомнил о коллекции патриарха в былой «собственной его величества библиотеке», где о существовании такого собрания мало кто мог подозревать. Хлопоты Академии наук о передаче ее в Азиатский музей быстро увенчались успехом, и в морозный зимний день в феврале 1919 года, я самолично с одним учеником и помощником на саночках по опустевшим улицам безлюдного Петрограда перевез все сорок рукописей, бережно закутав их в тулупы, в старое помещение Азиатского музея у академического здания с колоннами. В то время я был хранителем ближневосточного отдела, и все манускрипты теперь прошли вновь уже буквально через мои руки. Я мог работать над ними досыта и не спеша, совершенно в других условиях, чем в Зимнем дворце, изредка с невольной улыбкой вспоминая свой последний визит в антиохийскую патриархию в Дамаске, откуда рукописи приехали к нам.

Радость моя омрачалась только тем, что первоначальный список со всеми извлечениями остался в Голландии и вернулся очень не скоро, когда другие работы не позволили мне продолжить намеченный Catalogue raisonné, и я опубликовал только краткую опись. Не знаю, как отнесся бы умерший в конце 1928 года патриарх к той популярности, которую приобрели в науке многие его рукописи. Трехтомная арабская Библия, наличию которой у нас завидует Ватикан, вызвала обширную специальную литературу с большой полемикой, где сравнивается значение нашего и римского экземпляров. Исключительный

по своей редкости сборник трактатов арабских врачей об окулистике произвел немалую сенсацию среди специалистов по истории науки. Второй экземпляр нашелся в библиотеке моего друга Теймура паши и позволил опубликовать значительную часть ее в критическом издании Каирского университета. Описание Грузии в автографе патриарха Макария тщательно исследовано грузинским арабистом. Много других сокровищ еще хранит собрание, но, к счастью для науки, жизнь уже показала, что они достойно оценены.

Так второму патриарху не удалось наподобие скупого рыцаря утаить от чужих, по его мысли, глаз свои богатства. Эти глаза с радостным волнением их открыли и помогли ученым осветить новые страницы истории человеческой культуры.

Портрет Макария и теперь иногда попадается мне. Он смотрит по-прежнему сурово испытующе, как смотрел когда-то на юного гимназиста в странной библиотеке, и мне невольно хочется ему сказать, точно в свое оправдание: «Ведь я старался сделать все, что мог, для твоих работ!» И опять с никогда не остывающей тоской встает передо мной воспоминание о первой библиотеке, которая приютила меня в детстве.

III. АРАБСКИЕ ПИСАТЕЛИ И РУССКИЙ АРАБИСТ

1. «Философ долины Фрейки»

(1910—1940)

Арабисту выпадает на долю много открытий. Они встречаются на его пути, может быть, чаще, чем в других областях, более разработанных, привлекающих большее количество исследователей. Не надо думать, что эти открытия связаны только с рукописями, и не следует огорчаться, как одна молодая туркменистка, которая с грустью говорила мне, что у них нет старых рукописей, так как и сама литература молода. Ведь, чем ближе к нашему времени, тем чаще роль рукописи переходит к книге, которая тоже несет открытия; еще в большей мере это надо сказать о таких бесценных очевидцах современности, как письма.

Иногда от всяких открытий не знаешь, куда деваться,— до того их много. И для меня всегда было непонятно, как можно искать тему или просить ее указать, когда они окружают человека с первых шагов его научной жизни со всех сторон. Трагедия арабистики в том, что тем слишком много. При строгой методике надо было бы сосредоточиться в более узкой области, и результаты тогда были бы глубже. Не всегда, однако, бываешь властен над собой, особенно когда надо держать в поле своего зрения и старую, и новую литературу, мимо которой нельзя теперь пройти, замкнувшись в научном эгоизме арабиста-классика. Здесь сама жизнь дарит большими открытиями, и счастлив тот, кто может наблюдать новую литературу на месте зарождения своими глазами.

Мне это не было суждено. На Востоке я побывал только один раз, и, как всегда, первая поездка по существу могла быть лишь предварительной рекогносцировкой, за которой должны были последовать настоящие продуманные экспедиции. Этого не случилось, и на первых порах я немало по молодости огорчался. Однако и тут меня жизнь научила, что для хорошего понимания человека вовсе не



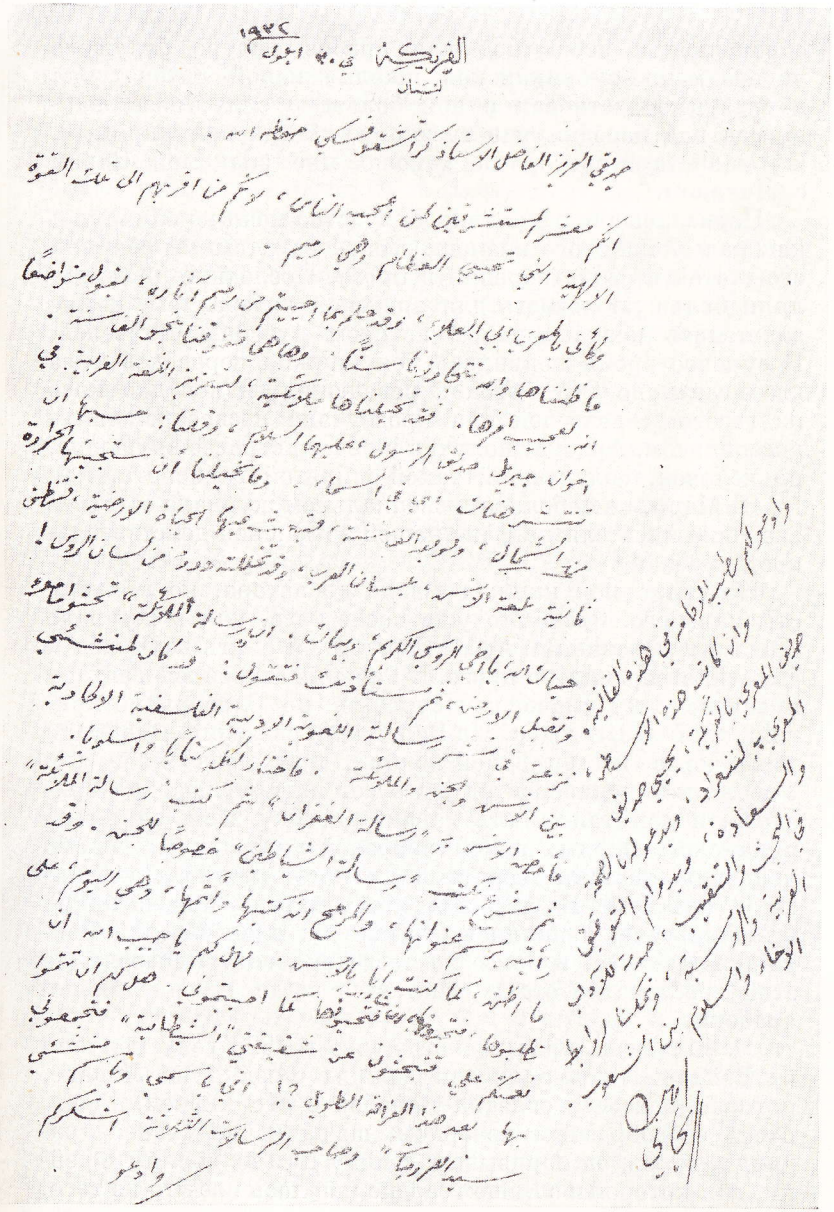
Амин Рейхани (1879—1940)

обязательно знать его непосредственно: книги, письма, фотографии открывают его не хуже, а иногда, может быть, и непринужденнее, чем личное общение. Современную литературу мне пришлось изучать почти исключительно «на расстоянии», а открытий удалось сделать немало.

Западные коллеги, частым поездкам которых к арабам я иногда завидовал, это признали. Все же с немного горьким чувством я спорил в 1930 году с почтенным немецким ученым, знатоком живого арабского Востока, когда в одной из своих работ он хотел под моим портретом сделать арабскую надпись — «первый, кто занялся на Западе новой арабской литературой». Я доказывал, что и до меня были ученые, подходившие к тем же вопросам; он был упорен и на мои протесты согласился вставить только одно слово — «первый, кто систематически занялся...» Через пять лет по случайному поводу я получил изящное арабское письмо от крупнейшего арабиста современной Англии, знакомого с Египтом и другими арабскими странами, благодаря многократным поездкам, не хуже, чем со своей родиной. Я был бы, вероятно, несправедлив, если бы отнес его слова целиком к арабской стилизации. «Ты открыл предо мной врата новой арабской литературы,— писал он,— и показал мне много тайн древней арабской литературы... Ты возвысил меня своей снисходительностью, и звездочка моя блистает только лучами твоего солнца».

Так сторонние свидетельства подтверждали мое субъективное чувство, что и современной литературой можно заниматься вдали от нее, можно делать открытия по книгам и письмам. С особым чувством удовлетворения я вспоминаю теперь, как мне посчастливилось «открыть» некоторых современных писателей еще в ту пору, когда их почти никто не знал,— конечно, не в Европе, где тогда вообще не знали новой арабской литературы, но и у себя на родине. Теперь все они — классики, признанные всем арабским миром.

Только с одним из них — старшим — встретился я единственный раз в Бейруте. Было это весной 1910 года, уже незадолго до моего возвращения в Россию. Случайно, в редакции маленькой газетки я увидал Амина Рейхани, недавно вернувшегося из Америки. Его наружность и большая вдумчивость, сквозившая даже в незначительном разговоре, остановили мое внимание, и я часто мыслями



Письмо Амина Рейхани. Автограф. Аль-Фрейка, 30 июля 1932 г.

обращался к необычной для арабов фигуре будущего лидера «сиро-американской школы» новой литературы; я сразу почувствовал в нем большую силу, возвышавшуюся над нередкими в ту эпоху, иногда популярными, журналистами-ораторами хорошо мне знакомой Сирии с Ливаном.

Первое, еще инстинктивное, чувство меня не обмануло: как раз около этого времени вышел двухтомный сборник его статей и стихотворений в прозе. Последние представляли большую новость для арабской литературы, и мне захотелось познакомить с автором русских читателей. В суровое время появилась моя книжка переводов — за две недели до Октябрьской революции, и кое для кого из газетных деятелей она прозвучала несвоевременным диссонансом. Арабист получил в печати строгое внушение, но человек, обладавший такой широтой горизонта, как Н. Я. Марр, не побоялся в специальном журнале осветить значение писателя на фоне нашей тогдашней действительности.

Не скоро моя книжка дошла до автора, но все-таки отыскала его. Это было уже после того, как в журнале «Восток», основанном А. М. Горьким, я опять вернулся к его стихотворениям в прозе. И Горький относился к автору и переводчику иначе, чем суровые, но близорукие критики 1917—1918 годов. На Запад шли сведения о Рейхани тоже через нас: в одной лекции, предназначенной для Упсальского университета, в ответ на приглашение приехать, я попытался дать характеристику всей «сиро-американской школы» новой арабской литературы. Она-то и послужила теми «воротами», о которых писал английский арабист. В арабской хрестоматии, напечатанной в Ленинграде, появились отрывки из произведений Рейхани и раннего, и более позднего времени. Переводы из этой хрестоматии стали печататься везде, где читали по-арабски.

Я был очень тронут, когда уже в 1928 году получил от Рейхани письмо из той долины Фрейки на Ливане, которая навсегда связана у арабов с его именем. Своим очень своеобразным почерком, шедшим, по давней традиции, вкось, он нанизывал: «Пишу Вам из долины Фрейки, для которой и в Вашем сердце нашлось кое-что из того, что в моем. А по временам эхо чудесней и прекрасней, чем самый звук. Это отдаленное эхо — глубокая и прочная любовь. И удивительно, что среди тех сынов моей родины, которые критикуют книги и писателей, даже самый тонкий по чувствам и наиболее глубоко мыслящий не понял так, как вы поняли, сущность природы и ее тайные образы, часть которых я пытался в том, что писал, передать своим читателям. И Вы изобразили в написанном Вами обо мне и об этой любви самую суть этой любви и ее внутренний облик, скорее облик духовный. Больше того, я вижу, что Вы проникаете до самого сердца и даже в него и читаете на его тайной индивидуальной скрижали то, чего не удавалось прочесть даже самым близким ко мне людям. Этим еще утверждается моя уверенность и укрепляется убеждение в том, что духовное родство — самое близкое и верное... Привет более ароматный, чем лилия долины в эти дни, и более нежный, чем горные цикламены! И этот цветок оттуда перенесет Вам мою любовь и привет». Вложенный в письмо сухой цветок до сих пор напоминает мне про долину Фрейку и ее философа.

Прошло четыре года. После почти 20-летней работы мне удалось опубликовать тонкую сатиру Абу-ль-Аля «Послание об ангелах». Одним из первых, кого я вспомнил, был Рейхани: в свое время он в нескольких английских книжках знакомил европейских читателей с мудрым слепым скептиком, автором стихотворных сборников «Обязательность необязательного», «Послания о прощении», «Послание об ангелах». Никто так остроумно не откликнулся на мое издание, как «отшельник долины Фрейки». Он писал: «Вы, господа ориенталисты, удивительнейшие люди: вы ближе всех к той божественной силе, которая «оживляет кости, даже когда они истлели». Мне точно видится аль-Маарри Абу-ль-Аля; он узнал про его истлевшее произведение, которое Вы оживили, и вот говорит он скромно: «Не думали мы, клянемся Аллахом, что оно превзойдет наш возраст! А вот оно пережило нас почти на тысячу лет. Удивительна его судьба: мы представляли его «ангельским» для возвеличения арабского языка среди братьев Гавриила, друга нашего посланника,— над ними обоими мир! Мы говорили: хватит с него, если оно будет распространено там, то есть на небе. Мы не воображали, что его коснется горячее дыхание с севера, хотя бы и через тысячу лет, и вдохнет в него земную жизнь, так что оно заговорит вторично, людской речью на языке арабов, с перлами русского языка в промежутках. Да оживи

тебя Аллах, мой почтенный русский брат! «Послание об ангелах» падает на колени перед тобой и целует землю. Потом просит позволения у тебя и говорит:—Было у моего автора стремление распространить свою миссию языковую, литературную, философскую, еретическую среди людей, джинов и ангелов. Для всех он выбрал особое писание и стиль. Людям он посвятил «Послание о прощении», потом он написал «Послание об ангелах». Потом стал писать «Послание о сатане» специально для джинов. Я видел, как он чертил заглавие, и, вероятно, он написал его и кончил. Как я думаю, сегодня оно в том же состоянии, что я был вчера. Не следует ли Вам, возлюбленный Аллахом, поискать его? И, если Аллах пожелает, Вы его найдете и оживите, как оживили меня. Не думаете ли Вы завершить свою милость мне и поискать моего «сатанинского» братца и объединить нас после этой великой разлуки?! Я от своего имени и от имени моего товарища, автора «Обязательности необязательного», владыки трех посланий, благодарю Вас и желаю Вам благополучного пребывания в этом преходящем мире». И вот, пишущий эти строки, друг аль-Маарри во Фрейке, приветствует друга аль-Маарри в Ленинграде и желает ему здоровья и счастья, постоянного успеха в изысканиях и исследованиях на службу литературе арабской и русской, для укрепления связей братства и мира среди народов».

И каждое письмо его, то серьезное с легким налетом романтики, то изящно-ироническое с оттенком грусти, всегда было построено на какой-либо «нукте» — тонкости, столь дорогой арабам игре слов, образов или намеков, не переводимой на другой язык, чувствуемой только в оригинале. В 1935 году, сожалея, что болезнь задержала его на минеральных водах Палестины и не позволила своевременно откликнуться на одну юбилейную дату, он добавлял: «Я все время думал написать Вам хоть две строчки с двумя розами из двух цветников — ума и сердца... но и до сих пор я в состоянии нездоровья и неудовлетворенности. Все же я подогнал свою слабость во имя любви, и сегодня она встала послушно и говорит: — Да сохранит Аллах профессора Крачковского и всегда дарует ему здоровье и благополучие, да укрепит его состояние долгой жизнью и успехом».

Получив из Лондона изданную мною «Книгу о дивном»— первую арабскую поэтику «однодневного халифа» Ибн

аль-Мутазза (сына Превознесенного), он сообщал: «Вот пришла книга из Лондона — эта книга дивная и печатью, и комментарием, и указателем, и своим английским введением — «Книга о дивном» Ибн аль-Мутазза. И автор имеет право, если он даже в горних чертогах рая, «превознестись» излитым на него Вами знанием, любовью, ревностью. Да сохранит Вас Аллах для науки светильником ярким, а для арабов другом и защитником».

С грустью я видел по этим письмам, как рука Рейхани слабеет: чувствовалось, что минеральные воды Палестины, много лет его поддерживавшие, уже бессильны ослабить движение болезни. Осенью 1940 года я получил от его брата печатное извещение с траурным углом, доводившее до сведения «арабского мира на родине и в эмиграции», что «философ Фрейки» скончался 13 сентября. Было это через 30 лет после того, как мы встретились в Бейруте. Умер он в родной Фрейке, которую так любил, откуда прислал в Ленинград не один сухой цветок.

Эпиграфом его первого сборника был девиз: «Скажи свое слово и иди!» Он сумел сказать это слово, и сорок лет оно звучало то мягкими, то грозными, обличительными тонами и в арабском мире, и в Америке. На перстне у него была надпись: «Сила у истины, а истина не умирает». И его слова не умрут, потому что в них было много истины.

Мы хорошо и близко знали друг друга, но за тридцать лет скитаний по миру сошлись только один раз.

2. Каирский аристократ — «феллах»

На маленькой пригородной станции я поджидал обратного поезда в Каир. Экскурсия моя была неудачной. Я хотел познакомиться с библиотекой Теймура паши, про которую мне рассказывали много, обыкновенно, правда, по слухам, добавляя, что владелец охотно показывает свои редкостные рукописи людям понимающим. Библиотека находилась в его имении неподалеку от станции. Однажды утром, уже незадолго до своего отъезда из Каира, я собрался ее навестить.

К сожалению, хозяин оказался в отсутствии, где-то в Верхнем Египте, и должен был вернуться только через неделю. Почтенный «бауваб» — привратник, охранявший дом, угостил меня по неизменному обычаю кофе и готов

был показать все комнаты, но меня интересовала только библиотека, а она была заперта. Посидев и немного потолковав с баубабом о неизбежной политике, я оставил свою карточку с просьбой передать паше, когда он вернется, и направился обратно на станцию.

Поезд недавно прошел, и ждать приходилось довольно долго. На платформе, кроме меня, маячил только маленький чистильщик сапог, один из бесчисленных, которые в своих синих балахончиках-рубахах, часто составляющих единственное их одеяние, снуют по всему Египту, появляясь иногда в самых неожиданных местах, и бывают великолепно осведомлены обо всем в округе. Покончив деловую часть — приведя в порядок запыленные ботинки, мы продолжали беседу в ожидании поезда, когда мог подвернуться какой-нибудь другой клиент. Мальчуган с деловым видом осведомился о цели моего приезда и, услыхав имя Теймура паши, как-то оживился.

— Знаю, знаю, он круглый год тут живет, все книги читает, а книги у него такие, что и в самом Каире нет; к нему даже шейхи из аль-Азхара приезжают. И детей его знаю; настоящие феллахи!

— Как так? — с изумлением спросил я.

— Ну, еще бы! Только приедут летом,— теперь они в городе учатся,— сейчас прибегут к моему деду, а он сторожем при деревенском «фурне»,— знаешь, печи, где феллахи со всей деревни хлеб пекут — и, если никого нет, все его сказки просят рассказывать. А когда женщины соберутся, тесто печь принесут, песни слушают, им нравится. Тихонько сидят; все к ним, как к своим детям, привыкли, свежей лепешкой угостят. А когда вечером наши мальчишки на гумне в мяч играть соберутся, они опять прибегут, с ними вместе носятся, кричат. Настоящие феллахи! — с какой-то гордостью, безапелляционно закончил он.

Удовлетворив свое любопытство о цели моей поездки, мальчуган осведомился, почему же я не приеду еще раз, когда будет паша.

— Пора домой возвращаться, в Россию, я ведь русский.

Мальчик с минуту посмотрел на меня серьезно, а потом расхохотался.

— Ну, меня не обманешь! Я франков всех знаю, их тут много приезжает и дерево Марии смотреть и страусовый питомник,— я их всех различаю. Вот что ты из Сирии, а не Египта, это я сразу по языку узнал, меня шляпой не надуешь — какой же ты русский!

Поезд подходил, я должен был поторопиться в вагон, но мальчик подскочил к окну и крикнул: «С миром! Кланяйся Дамаску!» Он хитро подмигнул, точно еще раз хотел добавить: «Меня не проведешь!»

Не скрою, что этот неожиданный и непритворный комплимент развлек меня, показав, что за два года пребывания на Востоке я все же научился «продавать», а не только «покупать», что так трудно давалось мне поначалу.

Вернувшись в Россию, я через некоторое время получил пересланную из Каира записочку от Теймура паши, огорченного тем, что я его не застал, с просьбой навестить библиотеку при случае. Случая этого не представилось, но я тогда никак не думал, что лет через пятнадцать мне все же придется познакомиться близко не только с ним, но и с одним из его сыновей — «феллахов», о которых так красочно рассказывал маленький чистильщик сапог.

Первая мировая война с последующими событиями надолго отрезала меня от арабского мира. Я жадно ловил всякие вести о литературе и постепенно открывал, что за десять лет в ней произошли большие сдвиги. Не только появились новые имена, среди которых стала мелькать фамилия какого-то слепого профессора в Каире, окончившего Сорбонну. Чувствовалось зарождение новых жанров, которые во время моего пребывания на Востоке еще не существовали. Стали проскальзывать упоминания о бытовом театре, одним из деятелей и созидателей которого назывался умерший молодым в 1921 году Мухаммед Теймур. Совпадение имени заставило меня невольно вспомнить маленького сына паши — «феллаха», но все это мелькало еще в очень смутных очертаниях.

Между тем в 1924 году в «Известиях» Арабской Академии наук в Дамаске появилась статья Теймура паши о шейхе Тантави, который когда-то был профессором арабского языка у нас в Университете. Я в это время тоже собирал материалы для его биографии, и мне захотелось порадовать пашу, послав ему с некоторыми дополнениями к статье фотографию с портрета шейха и снимок его могилы на Волковом кладбище. Говоря о своем интересе к современной литературе, я осторожно осведомился о Мухаммеде Теймуре, которого называют основа-

телем нового театра, но никаких произведений которого до настоящего времени у нас не известно.

Ответ пришел быстро. Паша очень обрадовался присланным материалам, поместил о них новую статью, перепечатав мое письмо, и наша переписка завязалась; ее прервала только смерть паши 26 апреля 1930 года. Нас объединяли разнообразные интересы и темы. Шейх Тантави дал только первый толчок к ним. В 1926 году к ним прибавилось обсуждение разных вопросов о «Послании об ангелах» слепца из аль-Маарры, который тоже очень увлекал пашу. Меня поражала внимательность к деталям, сквозившая в каждом его письме. По всякому поводу он находил время произвести ряд сличений и справок в бесценных рукописях своего собрания, которые знал в совершенстве. Всегда ровным и четким почерком он заполнял четвертушки бумаги одинакового формата, и, казалось, в данный момент был занят только этой темой. А ведь таких корреспондентов, как я, у него было много.

В первом же письме он сдержанно ответил, что покойный Мухаммед Теймур — его сын и подробности о его произведениях сообщит мне его брат Махмуд. Было видно, что мой вопрос коснулся болезненной, незажившей раны.

Действительно, через некоторое время я получил не только письмо, но и три тома недавно выпущенного посмертного полного собрания сочинений молодого драматурга, которое было опубликовано трудами его младшего брата, очевидно, второго из «феллахов», про которых когда-то рассказывал мальчик на станции. Это издание сразу познакомило меня с биографией безвременно умершего писателя и всей его творческой деятельностью. Я почувствовал, что на моих глазах созревает новый этап литературы. Меня поразили не только драматические произведения — в самом деле первые опыты бытового театра, оригинальные даже по языку, часто переходившему на разговорный диалект, до тех пор редко выступавший на театральных подмостках. Меня поразили более ранние попытки его создать бытовую или психологическую арабскую новеллу-рассказ, которыми литература в Египте до тех пор, можно сказать, не располагала. Личность второго брата, Махмуда, приславшего мне этот щедрый дар, оставалась тогда для меня, конечно, в тени.

Поэтому я немало изумился, когда быстрее чем через год, в июне 1925 года, получил с надписью от Махмуда

Теймура два томика его рассказов. И в них сразу чувствовалось, что занятие литературой для автора не дилетантство и не забава, а серьезное дело, над которым надо систематически и основательно трудиться. Вдумчивые вводные статьи говорили о больших требованиях, которые ставит себе писатель, об основательной литературной школе, которую он считает обязательной для себя. В самих рассказах я сразу уловил живое дыхание всей египетской среды, и городской, и той феллахской, которую писатель знал и чувствовал так же хорошо. В литературной манере я с немалым удовлетворением замечал воздействие не только Мопассана, но и Чехова. Как год тому назад я с поспешностью проглатывал три больших тома сочинений Мухаммеда Теймура, так и теперь, точно задыхаясь, я прочел без остановки два томика Махмуда Теймура. Я не утерпел и на первой же лекции в Университете, прервав изложение, шедшее по программе, заявил, что в арабской литературе создана своя оригинальная новелла и, если я не слишком ошибаюсь, Махмуду Теймуру в развитии ее будет принадлежать видная роль. В готовившуюся у нас хрестоматию новой арабской литературы мы сразу включили один его рассказ, и с конца 20-х годов студенты начинали знакомство с современной литературой обыкновенно с него. Я не скрыл своего впечатления от автора. В большом письме я всячески поддерживал его стремления на избранном пути: по-видимому, это действовало, и, когда приблизительно через год пришел от него третий сборник рассказов, в приложении к нему я увидел напечатанным почти целиком мое письмо.

С этого времени раз или два в год я получал новый томик его рассказов: до второй мировой войны у меня стояло на полочке уже четырнадцать книжек, не считая повторных изданий. Я с радостью видел, как крепнет его талант, как в упорной работе все отчетливее вырисовывается его собственный индивидуальный облик. Его деятельность постепенно создавала школу в литературной жизни не только Египта, но и других стран. К его голосу начинали прислушиваться и в Сирии, и в Ираке: все чаще и чаще с полным правом его называли главой современной новеллы. Произведения его стали проникать и в Европу, появляясь изредка в переводах на западные языки. Я чувствовал, что не ошибся в своей оценке с первого взгляда.

Наша связь поддерживалась не только его произведениями. Он щедро слал мне новинки литературы, радуясь моим откликам на труды его земляков и их быстрый прогресс в разнообразных областях. Постепенно мы привыкали беспокоить его по всяким вопросам — когда надо было разъяснить встретившееся затруднение при работе над словарем нового литературного языка или узнать про какие-нибудь переводы произведений Горького на арабский. Как в свое время его отец, Махмуд Теймур на все отвечал внимательно и серьезно, не жалея труда; разница была только в том, что новые времена сказывались и часто письма писались не от руки, а на машинке.

Иногда между строк я чувствовал, что симпатия наша обоюдна, что мы, никогда не видав друг друга, нашли то внутреннее родство, о котором писал Рейхани, что мы не чужие друг другу. Особенно трогательно я ощутил это в 1935 году, когда в мои руки попал номер одного каирского журнала, где я вдруг увидел статью Теймура обо мне. Мне хочется привести из нее отрывок, как я привел окончание разговора с чистильщиком сапог,— не для того, чтобы «величаться», а чтобы, как выражаются дервиши, «поведать о милости», рассказать про счастье, которое иногда выпадает человеку в людской оценке даже в далекой стране, у чужого народа, где, кажется, и люди иные.

Теймур писал: «Лет десять тому назад, под вечер, я пошел навестить своего покойного отца, как всегда делал, в его отдельном доме в квартале Замалек, где он жил в одиночестве среди книг, удалившись от мира. Я вошел к нему в рабочую комнату и застал его за столом среди груды книг и тетрадей, как всегда по обыкновению что-то просматривающим и записывающим. Почувствовав мой приход, он поднял голову, снял очки для работы и попросил меня сесть. Взор мой упал на фотографический снимок какой-то мусульманской могилы, который лежал среди массы листов, громоздившихся у него на столе. Я спросил его об этом. Он улыбнулся и сказал: «Это фотография могилы шейха Тантави, похороненного в России». Удивился я этому уроженцу нашей Танты, который выбрал для себя кладбище в стране русов, и попросил отца разъяснить обстоятельства. Он стал мне рассказывать об этом египетском ученом, который уехал далеко, в Россию, в прошлом веке, чтобы обучать арабскому языку и литературе в Петербургском университете, как

он назывался тогда. Он жил там, пока не пришла к нему смерть, и там был похоронен. А теперь нашелся среди профессоров-ориенталистов, кто задумался об этом египетском ученом, исследует его биографию и пишет работу о нем, чтобы увековечить его память.

Меня увлек этот рассказ. Я стал рассматривать фотографию, восхищаясь и гордясь этим профессором-ориенталистом, который принялся за одного из наших забытых ученых, рассказывает про его жизнь во всеуслышание и превозносит его память. Вместе с этим он развернет страницу нашей преданной забвению истории и укрепит воспоминание о нашей стране среди наших далеких друзей. Я поднял голову и посмотрел вопросительно на отца. Он прочел по глазам мои мысли и добавил: «Автор этого исследования — русский профессор Крачковский».

С этого момента я полюбил профессора Крачковского и почувствовал в глубине сердца, что он не чужой для меня. Позже я увидел его фотографию. Меня поразил в ней отпечаток серьезности, отраженный на его лице, и какой-то удивительный свет, струящийся из глаз, свет доброты и искренности. Путем переписки я познакомился с профессором и нашел в нем человека со стойким характером, твердой волей и широкой культурой. Больше тридцати лет жизни он отдал на службу арабскому языку и литературе. Он не ослаб и не заколебался, но упорно трудился и трудился, пока не овладел наукой и не углубился в нее. Он стал вершиной, твердо утвердившейся среди ее вершин, и силой среди могучих ее сил.

Я не забуду первое письмо, которое пришло ко мне от профессора. Я смотрел на него в смущении и растерянности. Почерк — арабский, красивый и чистый, по своей ясности и симметричности напоминающий шрифт пишущей машинки. Им управляет тонкая душа со здравым вкусом в выражениях, простоте и спокойствии; все с удивительной последовательностью и редкой отчетливостью. Мной овладело тихое чувство с некоторой долей гордости от того, что есть такой большой друг у нас — арабов — в дальних странах, который отдал свою жизнь на службу нашей литературе, чтобы возвысить наш авторитет.

Моя связь с профессором усиливалась, и переписка между нами продолжалась. Он подарил мне много своих сочинений на русском языке. Года проходили, и мое знакомство с профессором все расширялось. И каждый раз,

как я узнавал о нем что-нибудь новое, моя любовь к нему крепла и уважение росло...

Пишу я это краткое слово в связи с чествованием профессора в России. Я шлю ему искреннейший привет, выражая чувства дружбы и благодарности, которые питает к нему весь арабский мир, а в частности народ Египта. Ведь человек, который всю свою жизнь посвятил ознакомлению западного мира с арабской культурой, который открыл нам путь, чтобы занять наше место среди мировых литератур, достоин высочайшего сана в наших сердцах».

Мне думается, что только при такой благожелательности и доброй воле, которая сквозит в этих строках, возможно укрепить «связи братства и мира среди народов»,о которых писал когда-то «философ долины Фрейки»— Рейхани.

Вторая мировая война оторвала меня от арабов и арабской литературы, как тридцать лет тому назад первая. По случайно проскальзывавшим газетам и рецензиям все же я знал, что Теймур по-прежнему неустанно работает и даже, как его брат, стал пробовать с успехом свои силы на драматическом поприще. Доходившие сведения говорили, что он стал любимым и общепризнанным классиком родной современной литературы. Еще отчетливее сказала мне об этом одна из первых попавших в мои руки после войны книг — большая монография 1944 года о его творчестве молодого арабского критика. Уже пробегая ее для первого ознакомления, я сразу натолкнулся на одно место, над которым не мог не остановиться. Автор писал: «Не приходится сомневаться, что тот класс, к которому больше всего склоняется любовь Теймура,— это феллахи...» Ему помогают в этом близкая связь с деревней и воспоминания детства, которое он провел «в местах, где собираются феллахи, слушал их беседы, радовался их песням и играл в мяч на гумне. Теймур-аристократ сохранил непреодолимую любовь к этому униженному классу египетского народа — единственно египетскому по своей основе...»

И я невольно задумался над этими словами высококультурного критика с его методичным анализом. Как был, значит, прав маленький чистильщик сапог, когда 35 лет тому назад уверял меня на станции около Каира, что дети Теймура паши — «настоящие феллахи!»

3. Полтавский семинарист

Во время двухлетних скитаний по Сирии я очень любил бывать в школах Русского Палестинского общества. Тому, кто не жил долго за пределами России, вероятно, трудно себе представить, до какой степени иногда можно страдать без русского языка. Моя тоска по временам принимала какие-то болезненно-комические формы. Помню, как раз зимой в Бейруте мне мучительно захотелось, чтобы проезжавший по улице извозчик выругался по-русски. Он этого, к моему огорчению, сделать, конечно, не мог и, торопясь куда-то, поравнявшись со мной, подогнал своих лошадей, обычным, далеко не ругательным арабским возгласом: «Ялла!» (О, Аллах!).

Попадая в какую-нибудь деревушку на Ливане, я прежде всего осведомлялся, нет ли по соседству «Медресе Москобийе» — Русской школы, — и поскорее стремился побывать там. Я хорошо знал, что не встречу русских учителей,— они жили обыкновенно только в больших городах — Бейруте, Триполи, Назарете. Очень редко можно было видеть и учителей арабов, бывавших в России, но я знал, что детишки, если я случайно зайду в класс, вставая, нараспев произнесут «здра-авствуйте!» Я знал, что, услыхав про мое происхождение, меня сейчас же окружат, немного дичась на первых порах, черноглазые учителя или учительницы и расспросам не будет конца, особенно когда выяснится, что я не представляю никакого официального начальства. Более храбрые иногда переходили и на русский язык, звучавший с каким-то трогательным акцентом в устах, привыкших с детства к другой фонетике. Часто встречал я, однако, педагогов, настолько свободно владевших языком, что приходилось удивляться, как они могли в такой степени его усвоить, никогда не покидая родины. Если не все они с легкостью говорили, то все хорошо знали и выписывали журнал «Нива», у каждого можно было увидеть в комнате томики Тургенева или Чехова, даже только что начинавшие появляться зеленые сборники «Знания», а иногда и такую литературу, которая в самой России считалась запрещенной.

Велико было значение этих маленьких, часто бедно обставленных школ. Через учительские семинарии Палестинского общества проникали и сюда вынесенные из

России великие заветы Пирогова и Ушинского с их высокими идеалами. По своим педагогическим установкам русские школы в Палестине и Сирии часто оказывались выше богато оборудованных учреждений разных западноевропейских или американских миссий. Знание русского языка редко находило себе практическое применение в дальнейшей деятельности питомцев, но прикосновение к русской культуре, русской литературе оставляло неизгладимый след на всю жизнь. Сила книги обнаруживалась здесь во всей своей мощи. И недаром так много современных писателей старшего поколения, не только переводчиков с русского, но и творцов, сказавших свое слово для всего арабского мира, вышло из школ Палестинского общества. Эта среда скромных учителей меня особенно влекла. Многие из них и тогда уже нередко бывали писателями и журналистами: для другой общественной работы пути в старой Турции были еще закрыты. В этой настоящей интеллигенции ума, вышедшей из народа и жившей с народом, я видел грядущую силу. История арабских стран после первой мировой войны оправдала мои мысли.

Эти люди знали меня. Не только мой арабский псевдоним «Русский скиталец» часто оказывался им знакомым, но постепенно утверждалось за мною и прозвище, которое я сам выдумал по ливанским образцам,— «Гантус ар-Руси» (Игнаша из России). Учителя больше всех убеждали меня остаться в Сирии, чувствуя мою неутолимую жажду к арабскому языку и арабской литературе, которую им редко приходилось наблюдать у приезжих иностранцев. По временам и я сам начинал серьезно об этом думать. Почему-то особенно сильно овладели мною эти мысли в маленьком ливанском городке Бискинте, где тоже находилась школа Палестинского общества.

Это была скорее большая деревня, расположенная очень высоко на склонах Ливана, уже совсем недалеко от вечно снежной вершины Саннина. Я забрел в нее, странствуя пешком из Шувейра, где тогда жил, и остался на несколько дней — так понравилась мне типично ливанская местность. Веселые черепичные крыши некоторых домиков говорили, что здесь было много «американцев», как жители Ливана величают своих земляков, находящихся в эмиграции. Снежные отроги казались совсем близкими, а в другую сторону шли, постепенно спускаясь



Махмуд Теймур (род. в 1894 г.)

к морю, террасы с оградками из камней, как всегда на Ливане тщательно обработанные. Сидя вечером на крыше скромного домика у местного учителя, в бесконечных неторопливых разговорах то о России, где он никогда не бывал, то о будущем арабских стран после младотурецкого переворота, он вспомнил одного воспитанника здешней школы Палестинского общества, который недавно окончил первым учительскую семинарию в Назарете и отправлен теперь завершать свое образование в России. Название города я не мог понять: в его передаче выходило все-что-то в роде Пулкова, и я решил, что он просто путает. Городок тем временем затих, луна осветила всю округу, придав ей особую на Востоке таинственность. Мы замолчали, и я почему-то с полной отчетливостью вдруг почувствовал здесь, что без России жить не могу и в Сирии не останусь.

Прошло много лет с этого вечера и еще больше событий. С первой мировой войной окончили свою жизнь школы

Палестинского общества. Сношения Гантуса ар-Руси с его сирийскими друзьями прервались, но школы мы продолжали иногда вспоминать. Случилось так, что моими ближайшими сотрудниками по преподаванию в Институте восточных языков оказались два бывших педагога Палестинского общества. Один — мой давний слушатель по Университету, два года пробыл учителем в Назарете и уехал оттуда только в связи с войной. Впечатления его были еще живы, и, составляя хрестоматию сирийского разговорного диалекта, часто мы вспоминали Палестину, ее школы и учителей.

Судьба второй моей помощницы оказалась гораздо сложнее. Арабка, уроженка Назарета, она окончила курс учительской семинарии в Бейт-Джале, около Вифлеема, и совсем молоденькой учительницей встретил я ее в том же Назарете. И тогда уже она сотрудничала в арабских журналах. В 1914 году, пользуясь летним перерывом, она приехала познакомиться с Россией и, задержанная войной, осталась у нас на всю жизнь. В Институте она стала преподавать с 20-х годов. Оторванная от родины, она тщательно собирала всякие литературные новости, которые начинали тогда проскальзывать из арабских стран. Много появлялось новых имен, которых мы и не слыхали до войны, и постепенно у нас возникла идея составить для студентов хрестоматию современной литературы с небольшим введением об авторах.

Трудно было подобрать данные о них. Если самые произведения попадались в разных сборниках, журналах и газетах, то даты рождения, и те не всегда могли нам сообщить наши корреспонденты, часто сами писатели, к которым мы обращались за справками. Особенно это огорчало нас относительно одного молодого критика, в котором мы сразу почувствовали большую силу и смелость; я боялся поддаться первому впечатлению, но мне чудились все какие-то отзвуки русской критической мысли, мало знакомой арабской литературе того времени. Еще больше это впечатление усилилось, когда в 1923 году вышел сборник его статей под многозначительным названием «Сито»; автор не боялся «просеивать» через него и общепризнанные авторитеты. Здесь было перепечатано предисловие к неизвестной нам драме «Отцы и дети», в названии которой звучали опять реминисценции русской литературы.



Михаил Нуайме (род. в 1889 г.)

Автора звали Михаил Нуайме; имя говорило о том, что он родом из Сирии; жил он, по слухам, в Америке. Большего добиться мы не могли, несмотря на все справки в Египте и Сирии. Нам пришлось включить его произведение в хрестоматию, вышедшую в 1928 году, без указания даты рождения автора, в противоположность большинству отделов. Года через два появилась английская книжка, посвященная, по нашему примеру, лидерам современной арабской литературы; когда я увидел, что и в ней относительно Нуайме зафиксированы только наши недостаточные сведения, терпение мое иссякло. Я написал в Нью-Йорк, в редакцию одной арабской газеты, с просьбой сообщить адрес М. Нуайме, если он известен.

Очень скоро, к большому своему изумлению, я получил письмо на чистейшем русском языке; корреспондент только извинялся, что он «старовер» и пишет по старой

орфографии, так как покинул Россию в 1911 году. Это и оказался Михаил Нуайме — бывший полтавский семинарист в 1905—1911 годах. Мне сразу стало ясно, про какого ученика школы Палестинского общества рассказывал старый учитель на крыше своего домика в Бискинте. Из следующего письма — автобиографии, написанной по моей просьбе, я узнал, что с декабря 1911 года Нуайме живет в Америке; разъяснилась для меня и роль русской литературы в его творчестве, которую я так определенно ощущал. Как бы в ответ на мои мысли, он вспоминал в этом письме: «Моим любимым предметом уже в Назарете была литература... В семинарии я скоро погрузился в русскую литературу. Передо мною точно открылся новый мир, полный чудес. Я читал с жадностью. Едва ли существовал какой-нибудь русский писатель, которого я бы не перечитал... Литературный застой во всем говорящем по-арабски мире бросился мне в глаза, когда я покинул Россию. Это действовало удручающе, и было обидно до крайней степени для человека, воспитанного на тонком искусстве Пушкина, Лермонтова и Тургенева, на «смехе сквозь слезы» Гоголя, на увлекательном реализме Толстого, на литературных идеалах Белинского и, в конце концов, на высокой человечности самого мощного, глубокого, полного и наиболее проникновенного среди всех русских писателей, Достоевского. Вы легко можете понять, почему мои первые литературные опыты на арабском языке были, главным образом, критического характера».

В 1932 году Нуайме вернулся на родину — в свою Бискинту, где и я побывал 35 лет тому назад. Его писательская деятельность ширилась, а известность росла, хотя строгий взгляд на призвание литератора не всегда и не всем его землякам был по душе. Мы следили друг за другом: его отношение к русской литературе, проникнутое такой любовью, которая едва ли встретится у другого из арабских писателей, вносило мягкую интимность и в нашу взаимную оценку. Мы об этом не говорили, но в 1935 году я увидел одну его статью, появившуюся в бейрутском журнале по тому же поводу, что и статья Теймура. Пусть же прозвучит на русском языке голос ливанца, как прозвучал голос египтянина.

«Гантус ар-Руси — Игнатий Юльевич Крачковский. Познакомился я с ним по переписке пять лет тому назад.

Он любезно подарил мне ряд своих русских работ по разным областям арабской литературы, древней и новой. И, может быть, он в авангарде тех ориенталистов, которые уделили нашей новой литературе то внимание, какого она заслуживает.

В его письмах между строк виднелась душа просвещенная и ясная, здравая и терпимая,— душа, которая объединила скромность познания и возвышенность простоты,— душа, которая переполнена благожелательностью к людям и верой в будущее человечества,— душа, которая встречает неудачу улыбкой надежды, а страдание — твердостью терпения.

Работы его говорили мне о большой его силе, о большой выдержке, об искренности перед самим собой и своей темой, о великой любви его к арабскому языку и литературе. И сколько раз я спрашивал самого себя о тех скрытых факторах, которые влекут нас к тому или другому делу, которые заставляют такого человека, как профессор Крачковский, выйти за пределы его страны с ее широкой ареной для исследования и труда, побуждают заняться изучением языка, у которого по внешности нет никакой связи с его языком, а потом заставляют его посвятить жизнь этому языку и его литературе, хотя он и далек от их очагов.

А ведь он, конечно, мог бы, если бы пожелал,— и это было бы для него легче достижимо,— посвятить жизнь языку и литературе своей страны. Но он этого не пожелал и не сделал. И в этом одном урок и назидание.

Последнее, чем дал мне насладиться наш дорогой профессор из его увлекательных исследований,— его книга о «Послании об ангелах» Абу-ль-Аля аль-Маарри, которую издала Академия наук в Ленинграде в 1932 году.

Я внимательно просмотрел книгу, и вот в предисловии я читаю, что автор 20 лет — с 1910 по 1930 — старается проникнуть к источникам, собрать материалы, изучить их, разъяснить и распределить. А препятствий на его пути — и войн, и много другого — было столько, что и не счесть. И он, по скромности, ни о чем этом и не вспоминает. Он не поминает и о том, как при своей стойкости и увлечении темой победил их всех и выпустил в свет послание аль-Маарри, про самое существование которого знали только немногие, даже из сынов языка аль-Маарри, выпустил в свет в арабском оригинале с переводом на русский язык

с комментариями, примечаниями и указателями, которые меня поразили широтой начитанности их автора, его «прекрасным терпением» и тонкостью исследования. Это дело трудное, которое может завершить только тот, кто вполне овладеет своей темой, как овладел ею профессор Крачковский, кто будет так же увлечен своей работой, будет так же искренен перед своей наукой, как был увлечен и искренен он. А эта книга — только один образчик из многочисленных трудов профессора.

Полюбил профессор наш арабский Восток до такой степени, что хочет быть известным здесь не под своим русским именем «Игнатий», а под той формой этого имени, которая распространена на Ливане и в Сирии. Он подарил мне «Послание об ангелах» с таким посвящением его рукой: «Дар восхищения и уважения от издателя сего — Гантуса ар-Руси».

О, добро же пожаловать тебе, о «Гантус»! Будь из нас и среди нас, мы будем с прибылью; и не думаю я, что ты будешь с убытком. Мы полюбили тебя, как ты полюбил нас. И вот я, один из многих сынов арабского языка, призываю на тебя прилив энергии и приветствую тебя с восхищением человека, который узнал красоту твоей души и полюбил язык твоих дедов, как ты полюбил язык его дедов».

Это было написано в мае 1935 года, а в июне я получил от Нуайме его новую большую книгу. Она посвящена его другу, лидеру «сиро-американской школы» современной литературы, Джебрану, который умер в 1931 году — как раз тогда, когда я узнал от Нуайме его автобиографию. Книга сильно подействовала на меня и богатством материала, и литературным мастерством, и высоким благородным тоном. Две детали в ней заставили опять вспомнить о школах Палестинского общества и русском языке среди арабов. Оказалось, что в литературном объединении, игравшем с 1920 года руководящую роль для новой арабской литературы Америки, кроме самого Нуайме, наиболее деятельными членами были еще два питомца учительской семинарии в Назарете. Джебран — председатель объединения, по происхождению маронит из северного Ливана, русского языка не знал, но в его арабских письмах своему другу, давнему полтавскому семинаристу, крепнувшая симпатия очень быстро вытеснила обычное «дорогой Михаил» совсем неожиданным для араба

«дорогой Миша», которое осталось уже до конца. И это русское уменьшительное имя в арабской оболочке выглядит в письме араба как-то особенно трогательно.

Нуайме прав, когда говорит, что нам не всегда ясны факторы, объясняющие выбор человеком дела своей жизни. Не всегда нам ясны в деталях и пути, по которым идет зарождение симпатии между людьми и народами. Но если в Сирии знают «Гантуса из России», а крупнейшего арабского писателя его друг и земляк зовет «Мишей» из Бискинты, то эти мелкие черточки ярко показывают, как глубоко иногда может проникнуть такая симпатия. Думается, что будущее человечества во многом зависит от умения отыскать пути этой симпатии.

IV. В АЗИАТСКОМ МУЗЕЕ

1. Введение к легенде

(Памяти Ф. А. Розенберга)

(1903—1934)

Как-то зимой 1903 года на лекции по истории Абиссинии Борис Александрович Тураев, устремив взор по обычаю куда-то поверх голов двух своих неизменных слушателей, сказал, обращаясь ко мне: «Вам надо посмотреть это издание Перрюшона: у меня его нет, но в Азиатском музее оно имеется, вы спросите у Лемма». Трудно было мне, студенту младшего курса, из провинции, преодолеть свою застенчивость и направиться в новую библиотеку, тем более, что, по слухам, для занятий там студентам требовалось разрешение директора.

Азиатский музей, в котором давно уже музейного было мало, а хранились только книги и восточные рукописи, находился тогда в старом помещении у главного здания Академии наук в Таможенном переулке, напротив Музея антропологии и этнографии. Для многих оно было новым, так как музей только года за два до этого переехал сюда из прежнего помещения в другом крыле того же академического здания. Служитель, в обычной тогда академической форме, повесил мое пальто и, поднявшись на несколько ступенек, открыл дверь в комнату направо от входа. В полутьме я плохо разглядел ее сразу. Почти всю ее занимал громадный квадратный стол слева от дверей, за которым никого теперь не было. У противоположной входу стороны стоял низкий, но очень широкий шкаф с бесчисленными отделениями алфавитного карточного каталога, а за ним, как бы на кафедре, возвышалась громадная конторка; там даже днем всегда было темно и во время занятий постоянно горела настольная электрическая лампа.

Я не успел осмотреться, как из-за конторки послышался малоприветливый голос: «Вам что угодно?» Только теперь я заметил, что там сидит высокий, элегантно

одетый, еще не старый человек с поражавшей на первый взгляд деформацией носа. Приняв его за Лемма, о котором говорил Тураев, я изложил, что хочу получить разрешение директора на занятия в музее. «А кто вас рекомендует?»— тем же тоном спросил сидевший. Я не ожидал этого вопроса, но ответил, что профессор Тураев, у которого я занимаюсь, указал мне одну книгу. «А она у нас имеется?»,— снова задал вопрос суровый человек. Я сослался опять на Тураева. Тогда сидевший спустился с возвышения и, подойдя к каталогу, стал перебирать карточки. Поиски были, по-видимому, неудачны, так как искавший что-то недовольно бормотал. В это время откуда-то из недр комнаты, где за конторкой начиналась анфилада смутно темневших стеллажей с книгами, послышался ворчливый голос, спрашивавший по-немецки: «Что ему нужно?» Мой собеседник назвал книгу, сейчас же раздались торопливые прихрамывающие шаги, и показался невысокий худенький седой старичок, распространявший сильный запах сигары. С недовольным видом он резко прокричал мне: «Так ведь это из серии, надо серию называть!» — и, найдя какую-то карточку в каталоге, сердито показал на нее второму. Это и был учитель Тураева, египтолог и едва ли не первый в Европе коптовед О. Э. Лемм, состоявший тогда единственным хранителем Азиатского музея. Второй — крупный иранист Ф. А. Розенберг — числился только сверхштатным прикомандированным к музею. Издание Перрюшона через минуту было у меня в руках, и я сел за стол заниматься. На мой вопрос о разрешении директора Розенберг махнул только рукой, добавив: «Мы сами ему скажем». Никаких документов не потребовалось, и все формальности на этом были кончены; кажется, моя фамилия долго оставалась даже неизвестной в музее. Не помню, заходил ли в тот день в музей директор — академик К. Г. Залеман, подвижной, энергично ходивший и говоривший, пожилой ревельский немец, несколько суховатый на вид, всегда в форменном вицмундире. В это время он был директором не только музея, но и второго — иностранного отделения библиотеки Академии наук. Впоследствии по его идее было выстроено громадное новое здание библиотеки, переезда в которое ему не суждено было дождаться. Хорошо помню, что зачем-то появился, как всегда спешно, молодой, живой, ставший в следующем году непременным секретарем

Академии С. Ф. Ольденбург. Почти пробежав мимо стола и обратив почему-то внимание на единственного читателя, он, зайдя за конторку к началу стеллажей, где, как я присмотрелся, сидел за особым столом у печки Лемм, спросил его вполголоса по-немецки: «Кто это такой?» — «Etwas äthiopisches!» (Что-то эфиопское!) — ответил Лемм, как мне показалось, презрительно махнувши рукой.

Так началось мое знакомство с Азиатским музеем и двумя его представителями в то время, началось с Абиссинии, а не с арабистики, с книг, а не с рукописей. И много лет позднее музей продолжал еще оставаться мне менее близким, чем университет или Публичная библиотека; я не предчувствовал тогда, что со временем музей едва их совсем не оттеснит, а эти люди и все учреждение станут мне особенно близки.

В студенческие годы я редко и случайно бывал в Азиатском музее; университетская библиотека тогда вполне удовлетворяла мои запросы по книжной части, а рукописи были еще чем-то мне чуждым, и про значение их мы и не слыхали. Знакомство мое с музеем все же росло, главным образом благодаря рассказам старшего коллеги — санскритиста и ираниста А. А. Фреймана, который там работал. После раннего обеда в студенческой «Коллегии императора Александра II», где мы тогда жили, он часто уходил в музей «писать карточки», что для меня представлялось достаточно таинственным. Знал я, что там же работает и другой старший «коллегиант» китаист В. М. Алексеев. Во время своих редких посещений музея обратил я внимание еще на оригинальную фигуру, появлявшуюся вечно с боязливым видом все оттуда же, из-за таинственных нескончаемых стеллажей, всегда не по прямой линии, а описывая какую-то параболу: это был ученый еврей, большой знаток не только своей специальности, но и русской книги XVIII века, С. Е. Винер, также «сверхштатно» прикомандированный для описания «Bibliotheca Friedlandiana» — знаменитой коллекции еврейских рукописей и книг. «Штат» долгое время оставался прежним, и, когда по окончании университета я стал с 1906 года чаще бывать в музее, единственным хранителем состоял О. Э. Лемм, все же прочие работали «сверхштатно».

В это время я по двум линиям уже был связан с Азиатским музеем. Думая о магистерской диссертации, я остановился на издании и исследовании произведений араб-

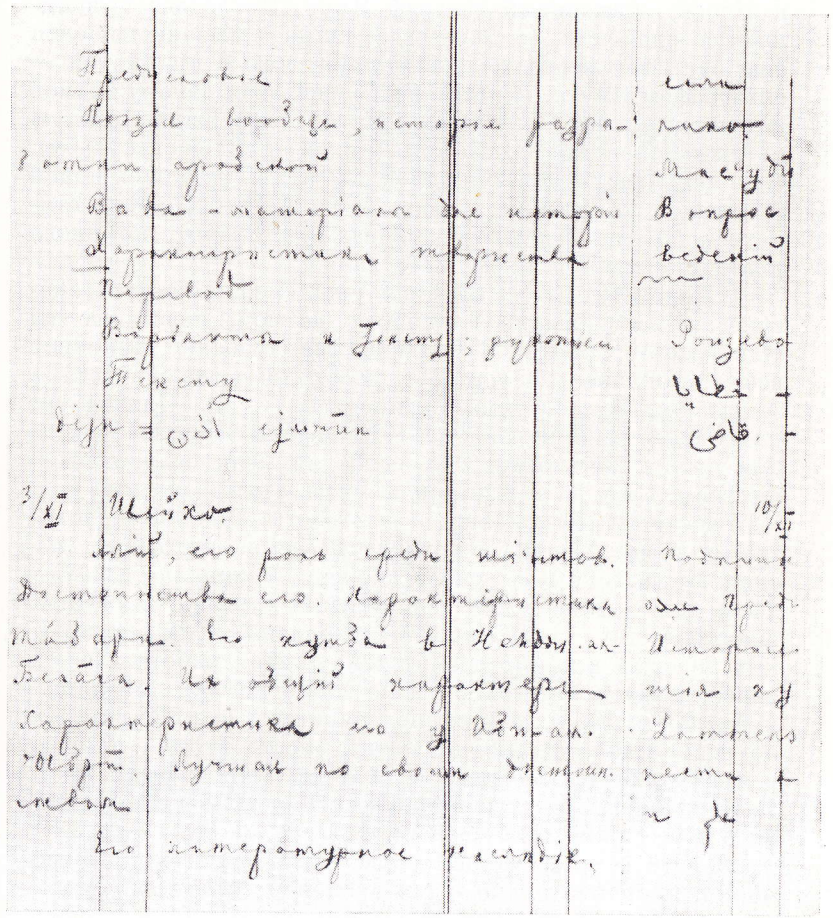
ского поэта X века аль-Вава Дамасского. Две рукописи находились как раз в Азиатском музее, и я усердно принялся дешифровывать, списывать и сличать. Рукописи попались неважные, поздние, малоразборчивые, а одна даже полуграмотная; много огорчений причинили они мне — новичку, шедшему ощупью, часто они приводили меня в отчаяние и заставляли разочаровываться в своих силах.

Изредка в музей заходил всегда оживленный В. Р. Розен. Заставая меня вечно над одними и теми же рукописями, он по своему обычаю весело осведомлялся, как поживает мой «Вавочка». Я не решался обращаться к нему со своими мелкими огорчениями, надеясь сделать это, когда вся работа будет близка к концу. К несчастью, я не подозревал, что тогда окажется уже поздно.

Вторую работу, над которой я тоже сидел в Азиатском музее, я долго утаивал от него, побаиваясь внушения за то, что слишком разбрасываюсь. Она возникла под влиянием интересов Лемма: занимаясь неустанно своими «коптскими штудиями», он часто привлекал арабские параллели и, присмотревшись постепенно ко мне, проникся уважением к моим арабским познаниям, вероятно потому, что христианско-арабские сюжеты были тогда мне близки. Не оставляя обычного для него обиженно-ворчливого тона, он часто обращался ко мне по разным вопросам. Для меня такие беседы с первоклассным знатоком были не менее полезны, чем регулярные занятия. Собирая всю жизнь материалы для большого исследования о легенде про архангела Михаила, О. Э. Лемм выписал однажды в Азиатский музей толстую рукопись с коптскими песнопениями из Готы. В ней оказалась уникальная арабская версия легенды, и я, вслед за Леммом, увлекшись сюжетом, решил списать ее всю целиком. В противоположность моему аль-Вава рукопись была очень разборчива и, в сущности, требовала только механического труда переписки. Времени для трехсот с лишним страниц понадобилось, конечно, немало, но покаяться в своей затее Розену я решился только тогда, когда все дело было закончено. Сверх ожидания он не рассердился, а очень весело сказал: «Ну, вот и отлично! Магистерскую диссертацию вы сделаете из Вава, а докторскую из Михаила». Этого не случилось, и копия, до сих пор сохранившаяся у меня, доставила мне материал только для нескольких

мелких статей, но школа углубленной самостоятельной работы над рукописями, в атмосферу которой я попал в Азиатском музее, оказалась для меня очень полезной. Мое влечение скоро было замечено, и в 1907 году мне устроили даже неожиданный сюрприз. Штудируя в связи со своей диссертацией поэта аль-Мутанабби, я как-то раз пожалел, что у нас нет полной рукописи комментария на его стихи известного поэта-философа Абу-ль-Аля. Розенберг и Лемм, как всегда, ворчливым тоном осведомились, где находится рукопись. Я ответил, что в Мюнхене, но, конечно, не придал вопросу значения. Не прошло между тем и двух недель, как, придя однажды для обычных занятий над аль-Вава, на своем постоянном месте, за тем же квадратным столом, я нашел эту самую мюнхенскую рукопись. Рассматривая ее в полном недоумении, я увидел, как Лемм и Розенберг из-за конторки с любопытством следили за впечатлением, произведенным на меня неожиданной находкой. Оказывается, они по секрету от меня выписали рукопись из Мюнхена в Азиатский музей, где она и оставалась, сколько мне надо было для работы.

В 1908 году, через полгода после магистерского экзамена, я уехал на Восток, где окунулся в другую жизнь и другие рукописи, заслонившие Азиатский музей. И по возвращении оттуда в 1910 году я еще долго оставался вдали от музея. Как хранитель только что основанного Семинария восточных языков имени В. Р. Розена, я уделял преимущественное внимание ему. Организация новой библиотеки и непривычка еще к лекциям в университете поглощали все мое дневное время, не позволяя часто бывать в Азиатском музее. Присоединились и другие обстоятельства. Специалиста по арабистике в музее не было, но директор его академик К. Г. Залеман, как иногда свойственно старым ученым, хотел все делать сам и думал, что будет находить время для этого. Поэтому и вновь поступающие ближневосточные рукописи он описывал сам и только в затруднительных случаях по поводу отдельных экземпляров обращался ко мне. Так, с большой радостью я мог любоваться великолепным экземпляром XIII века «хронологии» знаменитого хорезмийца аль-Бируни, приобретенным около этого времени в Персии; мечтая «объять необъятное», я даже списал те части, которые восполняли лакуны известного издания Захау,



Набросок содержания в дневнике 27 октября 1908 г. к изданию дивана поэта аль-Вава ад-Димашки

предполагая со временем их опубликовать. Дело оказалось сложнее, чем я думал, и копия до сих пор лежит у меня, все ожидая своей очереди. Большим торжеством для меня было открытие в новых поступлениях одного тома истории Ибн Мискавейха, каллиграфически переписанного в Средней Азии не позже XII века, того самого экземпляра, который когда-то читал там же, вероятно

в Мерве, знаменитый географ Якут. Последнее выяснилось со временем, только тогда, когда в Казани нашелся еще один том этого же экземпляра, уже с припиской — автографом Якута. А потом в Средней Азии обнаружились и все остальные три тома, опять подтверждая старую истину «habent sua fata libelli» (книги имеют свою судьбу). С не меньшей радостью в одной дефектной рукописи новой бухарской коллекции я открыл «диван» — собрание стихотворений «последнего бедуина» Зу-р-Руммы, крупного поэта омейядской поры VIII века.

В конце 1916 года Залеман умер; между тем систематически поступавшие в связи с войной, спасенные на Кавказском фронте, в большинстве арабские рукописи все настойчивее говорили о необходимости арабиста в Азиатском музее. Новый директор С. Ф. Ольденбург пригласил меня в декабре 1916 года в первую очередь для работы над ними. Это было для меня великим торжеством. Служба в Азиатском музее открывала мне полный доступ к материалам, в частности рукописям, в которые я мог теперь погрузиться беспрепятственно, насколько хватало моих сил и времени, буквально в любые часы дня и ночи. Так работали и другие. Служебное время не было строго регламентировано, кроме нескольких дневных часов у хранителей; личная работа ученого переплеталась с музейной и не знала никаких ограничений и норм. Мы, младшие, подтрунивали над Леммом, что он берет библиотечные карточки писать на дом. Многие в музее работали во вторую половину дня и очень часто засиживались до поздней ночи, как обыкновенно случалось и с самим Розенбергом.

В 1916 году обстановка музея уже значительно переменилась сравнительно с тем временем, когда единственным официальным хранителем был О. Э. Лемм. Теперь их числилось трое: Лемм получил звание старшего хранителя, так же как и Розенберг; младшим был зачислен В. М. Алексеев. Сверх штата, кроме С. Е. Винера, работал иранист В. А. Иванов, большой чудак, основательный знаток суфизма и фанатичный любитель рукописей; он был очень удачливый «охотник» за ними и дважды посылался Академией наук для сбора их в Среднюю Азию. Музей обогатился очень большой, им составленной так называемой «бухарской» коллекцией. Резкий человек и парадоксалист, он постоянно изводил, особенно за полуденным

ИЗДАНІЯ
ФАКУЛЬТЕТА ВОСТОЧНЫХЪ ЯЗЫКОВЪ
ИМПЕРАТОРСКАГО ПЕТРОГРАДСКАГО УНИВЕРСИТЕТА
№ 41.

И. Ю. Крачковскій.

Абӯ-л-Фараджъ ал-Ва'ва̄ Дамасскій

МАТЕРІАЛЫ

для

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЭТИЧЕСКАГО ТВОРЧЕСТВА

ПЕТРОГРАДЪ.
ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.
Вас. Остр., 9 лин., № 12.
1914.

Титульный лист работы И. Ю. Крачковского об аль-Вава

чаем, тихого, тоже работавшего в музее армянина А. А. Калантаряна, который придумывал язвительные ответы обыкновенно только тогда, когда все уже расходились. Незадолго до меня в музей был приглашен талантливый монголист Б. Я. Владимирцов. Количество сотрудников продолжало расти и после моего поступления. Лемма заменил коптовед и эллинист П. В. Ернштедт, появился молодой кавказовед А. Н. Генко.

В 1918 году в Азиатском музее произошло большое событие: по инициативе С. Ф. Ольденбурга сотрудником была зачислена первая женщина — ученица Б. А. Тураева египтолог Н. М. Дьяконова (впоследствии Алексеева). За нашим и примыкавшим к нам поколением постепенно стали появляться и наши ученики.

Яркий колорит музею придавали и два служителя: Дмитрий Брядов и Еремей Зюзин, которые провели здесь бóльшую часть «залемановского» и весь «ольденбурговский» периоды. Оба выходцы из простой крестьянской среды, они по природе обладали немалыми талантами, которые сумели развить, попав в культурное учреждение. Не говоря про то, что оба они хорошо справлялись с разнообразными шифрами и латинским шрифтом, и тот и другой были в своем роде Tausendkünstler'ами (мастерами на все руки) — Брядов самоучкой великолепно чинил часы, Зюзин — сапоги. Это все еще, так сказать, «бытовые таланты», но более интересно то, что Брядов стал заправским фотографом и артистически снимал восточные рукописи. Академия командировала его с этой целью на Афон, а когда музею приходилось по просьбе заграничных ученых посылать фотокопии с рукописей, очень часто приходили специальные благодарности за особо искусное выполнение. Иностранцы, конечно, не подозревали, кто над этим работал. Когда штат музея расширился до трех служителей, третий обыкновенно менялся, но Брядов и Зюзин сохранялись неизменно, и без них трудно было бы представить музей или какое-нибудь событие в его жизни. Оба впоследствии перешли с ним в новое здание, но Брядов стал там хворать, с трудом поднимался на лестницу и не мог уже чинить часов. Он умер в 30-х годах, вскоре после Розенберга. Зюзин, повысившийся до чина научно-технического сотрудника, тоже постепенно хирел, однако окончательно его подкосил только тяжелый 1942 год. С ним ушел последний представитель ста-



Академик Х. Д. Френ (1782—1851)

рого Азиатского музея, хорошо помнивший разные периоды его жизни.

Директорство Ольденбурга, главным образом 1917—1925 годов, было порой особого расцвета музея, когда он незаметно стал центром в сущности всего научного востоковедения в Ленинграде. В известной мере к нему перешла объединяющая роль распылившегося Факультета восточных языков и своеобразной высшей школы научной практики Восточного отделения Археологического общества, которое на ряд лет заменила Коллегия востоковедов при Азиатском музее. Душой всего этого оживления был, конечно, С. Ф. Ольденбург, но он, в связи с исключительно широкой организационно-научной работой по Академии и вне ее, не всегда мог уделять достаточное время Азиатскому музею; вся будничная работа и повседневная организация оказались в руках Ф. А. Розенберга, который

неожиданно обнаружил большой дар объединителя младшего поколения. Лемм быстро дряхлел и в 1918 году скончался. Розенберг, оставшийся старшим хранителем, по-прежнему соблюдал свой ворчливый тон, но незаметно сумел приблизить к себе всех сотрудников, подчинив их и выдающимся научным авторитетом и, в особенности, ореолом исключительно высокой и благородной культурности; он был первоклассный ученый и вместе с тем крупный и тонкий знаток мировой литературы и искусства.

В такой обстановке работалось легко, несмотря на все тягости, выпавшие Петрограду в ту эпоху. Для меня период 1916—1921 годов был временем погружения не только в отдельные рукописи, но и уже в целые коллекции и фонды. Иногда они подавляли меня своим количеством, однако постоянное соприкосновение с живым, все время обновляющимся материалом поддерживало особо повышенный темп научной работы и ощущений.

Мне прежде всего пришлось привести в порядок более чем тысячу рукописей так называемой Кавказской коллекции, поступивших с Кавказского фронта. Они каждую неделю доставлялись посылками в музей; непрекращающийся поток иногда пугал меня, грозя затопить. Рукописи в большинстве случаев были второго, чаще даже третьего «сорта», но просмотр громадного количества их приучил меня быстро ориентироваться в новом материале и расширял кругозор на все области письменности. Впервые для меня делалась наглядной картина литературной образованности в одной из провинций мусульманского мира, связанных с арабской культурой; перед моими глазами проходили и учебники, и схоластические ученые произведения, одним словом — весь «круг чтения», которым до XX века в течение нескольких столетий питались целые поколения.

Едва я успел справиться с этой лавиной, как меня поглотила другая, еще более значительная работа: разбор рукописного наследия В. Р. Розена, только в это время поступившего от его старшего ученика, известного ираниста В. А. Жуковского, умершего в 1918 году. Мне думалось, что Розена в последнюю пору его жизни я знал довольно близко, но только теперь, при разборе рукописей, а затем и обширной корреспонденции, я мог оценить в полной мере эту крупную фигуру мирового ученого, общение с которым считали для себя честью специалисты всех



Д. А. Брядов (1868—1937)

стран, организатора русского востоковедения, из школы которого вышли такие светила нашей науки, как Ольденбург, Марр, Бартольд и многие другие. Неопубликованные работы Розена, его неоконченные статьи, наброски, автобиографические документы и корреспонденция доставили мне материалы для публикаций на всю жизнь, но далеко еще не исчерпаны.

Если прибавить, что в эти же годы в музей поступили рукописи патриарха Григория из Зимнего дворца и большая коллекция бывшего учебного отделения Министерства иностранных дел, что все время росла «бухарская» коллекция Иванова и каждая арабская рукопись должна была пройти через мои руки, то легко понять, в каком море я оказался, с каким напряжением и подъемом все время шла работа, поддерживаемая новым материалом на неизменно высоком уровне. Радость крупных открытий перемежалась с удовлетворением от роста наших фондов

и все более тесного вхождения их в науку. Новые коллекции отчетливее обрисовывали значение старых; все мы почувствовали это особо ярко, когда, в связи со столетием музея в 1918 году, по инициативе С. Ф. Ольденбурга составляли краткую историю отделов по специальности каждого. Знакомство с материалами основателя и первого хранителя музея, Френа, на недосягаемую высоту поднимало фигуру этого первоклассного ученого и беззаветного труженика на пользу музея. Сознание того, что продолжаешь работу, завещанную великими предшественниками, помогало преодолевать трудности тех лет и неустанно творить свое скромное, незаметное дело. Годы 1916—1921 были для меня периодом, когда я как бы погрузился всецело в рукописи Азиатского музея.

В конце 1921 года я был избран академиком и по обычному порядку того времени должен был оставить место сотрудника в музее. По существу это, конечно, не помешало бы мне продолжать работу, но в следующем году я был избран еще на впервые установленную должность секретаря Отделения исторических наук и филологии. Новые организационно-административные обязанности, связанные с необходимостью заменять непременного секретаря С. Ф. Ольденбурга во время его частых поездок, почти на семь лет оторвали меня от музея и сильно сократили возможность личной научной работы.

Между тем, старый Азиатский музей приходил к концу. В связи с двухсотлетним юбилеем Академии в 1925 году музей перешел в новое здание наверху библиотеки Академии наук, а затем превратился в Институт востоковедения, объединив другие востоковедческие учреждения Академии. Начался новый период. Все работники это сознавали, однако многим было трудно расставаться со старым, неудобным, но уютным и как-то обжитым помещением музея в Таможенном переулке, где он занимал первый этаж, а здесь надо было подниматься, по существу, на восьмой. Не для всех это было даже физически легко, и прежде всего почувствовал это Ф. А. Розенберг. Хворавший последние годы, иногда с трудом двигавшийся, после переезда, он окончательно начал как-то потухать. Врачи долго не могли определить старческого туберкулеза, и последний хранитель на глазах у всех умирал. Как верная нянька, почти каждый день навещал его

в одинокой квартире Е. Д. Зюзин, быть может слишком балуя выполнением некоторых, едва ли полезных для больного желаний. Умирал он все же героически на посту ученого: в те немногие ночные часы, когда на время оставляла сорокаградусная температура и исчезали видения отшедших друзей, он готовил к юбилею Фирдоуси перевод и комментарий избранных отрывков из «Шахнаме», лучшим знатоком которой он был. Небольшая, изящно изданная книжка и оказалась его последним, увы, уже посмертным произведением.

О старом Азиатском музее горевал не он один. Мы, конечно, хорошо сознавали, что для Академии неизбежен переход от кустарных иногда форм индивидуальной работы маленьких учреждений к большим комплексным институтам с крупным коллективом сотрудников. Но все же нам было грустно, что работа над рукописями и фондами, которая была основным нервом и наполняла всю жизнь Азиатского музея, отходила как-то на задний план и значение ее не всем уже было понятно. Тесный кружок ученых, живших в библиотеке и для библиотеки, растворялся в большом научно-исследовательском институте с десятками, а потом и сотней сотрудников, с широкими планами. Все это было вполне закономерно и понятно, но мы вспоминали старый Азиатский музей, как вспоминают красоту кустарных изделий, уходящую под натиском современного производства. Это неизбежно, но для выросших в старой обстановке такой красоты понятна и грусть по ней. И, вероятно, не я один с особым чувством вспоминаю «легенду» об Азиатском музее, сложившуюся в его недрах в 20-х годах. Действие ее происходило в царстве короля «доброго Бука», в замке рыцаря «Розовая гора»; жили там и добрый волшебник — сарацин, и суровый Питер-Фламандец, было там целых три трубадура: Жюль — Aux cheveux longs (длинноволосый), Бус — Aux cheveux blonds (светловолосый) и Дус — Aux cheveux noirs (черноволосый); был даже жонглер Алексис Ле Беф и много, много других... Каждый из них и сегодня видится мне на фоне все тех же красных шкафов, тех же книг и рукописей, что десятки лет окружали нас в старом Азиатском музее.

2. Единственная рукопись и ученые «дванадесять язык»

В моей жизни арабиста часто встречались рукописи, которые были открыты давно, как-то незаметно, без всякого шума, но история их постепенного проникновения в науку напоминает иногда волшебную сказку: в ней появляется такое количество действующих лиц, судьбы их так неожиданно переплетаются, что даже неприкрашенная фабула оказывается поучительной иллюстрацией мощи коллективной международной работы, которая вовлекает в свое русло и первостепенные таланты и рядовых работников, и многомиллионные народы с давней арабистической традицией и нации, только на наших глазах получившие признание своей самостоятельности, и Восток и Запад во всем их наружном многообразии. Картина величественная и поучительная, в которой, как «солнце в малой капле вод», отражается неустанное движение человеческой культуры.

В XII веке в Кордове жил один арабский поэт. В придворных кругах многочисленных эмиров Испании, разделивших славный кордовский халифат, он был мало известен, но на рынках, ярмарках, всюду, где собирался простой народ, его встречали как желанного гостя не только в Кордове, но и в других городах Андалусии, в Севилье и Гранаде. Родным языком его был арабский; только обличье его — голубые глаза, рыжевато-золотистая борода — говорили о том, что среди его предков встречались и представители европейских народностей. Самое имя его «Ибн Кузман» было одинаково в ходу и среди арабов и среди испанцев. В своих стихах он не подражал старым арабским образцам торжественных панегириков на классическом языке; в его живых, веселых песнях чаще всего говорилось про любовь и вино, нередко с намеками на необходимость помочь бедному бродячему певцу. Крупный талант превращал каждую песню в яркую картину всей обстановки и быта, обыкновенно смелую, очень часто фривольную... Литературным языком Ибн Кузман почти не пользовался, предпочитая ему народный разговорный диалект родной области и, не стесняясь, вставлял понятные там романские слова и целые фразы. Не удивительно, что такая поэзия была не в духе строгих литературоведов-пуристов, поклонников классической традиции: они считали ниже своего достоинства записывать веселые заджали (песни) Ибн Кузмана. Все же многим они нравились и постепенно продвигались на восток арабского мира. Здесь, в Палестине, в маленьком городке Сафад, какой-то араб веком позже списал их для своего собственного развлечения. Проделал он это аккуратно и тщательно, но далекого арабско-испанского диалекта он не знал, а о романском языке, конечно, не имел никакого представления; легко себе вообразить, какие искажения вкрались в список, местами воспроизводивший механически непонятное сочетание арабских букв. И все-таки мы не много бы знали об Ибн Кузмане, если бы эта единственная известная до сих пор рукопись не сохранилась у нас в Азиатском музее. Попала она сюда сложным путем, благодаря целому ряду счастливых случайностей.

В конце XVII века из Женевы в Сирию переселился некий Руссо, представитель фамилии, прославленной впоследствии знаменитым Жан-Жаком Руссо. Здесь ему удалось устроиться лучше, чем на родине, и постепенно он приобрел некоторый достаток. Ко времени французской революции его сын был консульским представителем своего правительства в Алеппо и Багдаде. Внук, выросший на Востоке, оставался человеком французской культуры, но превратился в настоящего левантинца. Он в совершенстве владел арабским, персидским и турецким языками, хорошо знал по непосредственным впечатлениям не только Турцию, но и Персию, где выполнял важные дипломатические и торговые поручения французского правительства. Пойдя по стопам отца, как официальный коммерческий и консульский агент, он превосходил его и знаниями и некоторым научным интересом к тем странам, где жил. Долговременное пребывание в Алеппо, которое представляло тогда своеобразное «областное культурное гнездо», развило в нем вкус к литературе и собиранию рукописей. У него постепенно накопилась большая и умело подобранная коллекция; «диван» Ибн Кузмана явился далеко не единственным уником в ней. Вторую половину своей не очень спокойной жизни Руссо провел в Триполи африканском; его материальные обстоятельства в это время сложились так, что около 1815 года ему пришлось думать о ликвидации коллекции.

С предложением приобрести ее он прежде всего обратился к французскому правительству. Финансы, расстроенные после Наполеоновских войн, не позволили тому согласиться на довольно значительную сумму, которую с полным основанием требовал владелец. Знаменитый Сильвестр де Саси, крупнейший ориенталист своего времени, хорошо понимавший значение этой коллекции, сообщил о ней через учеников, приглашенных профессорами в Петербург, известному ему лично министру народного просвещения Уварову, автору проекта «Азиатской Академии», которым так интересовался Гёте. Коллекция была приобретена двумя партиями в 1819 и 1825 годах. Франция лишилась ценного собрания, но у нас оно сыграло громадную роль, положив основание мировым фондам Азиатского музея. Своей притягательной силой, не меньше монет академического собрания, оно удержало навсегда в России знаменитого Френа, который из Казани, где прослужил десять лет, возвращался к себе на родину в Росток, на кафедру своего умершего учителя. Этот первый хранитель Азиатского музея, основатель нашей научной арабистики, по достоинству оценил значение рукописей и с бенедиктинским трудолюбием в многочисленных томах своих материалов дал первое их описание — инвентарь. Стихи Ибн Кузмана были, таким образом, спасены и нашли надежное место хранения, но в науку они вошли еще не скоро — более чем через 60 лет.

В. Р. Розен, сын немца и полугрузинки-полурусской, ставший основателем новой школы русского востоковедения, был избран в 1879 году адъюнктом Академии наук в возрасте 30 лет. Своим первым делом он наметил издание научного каталога арабских рукописей Азиатского музея. Составленный по-французски в свойственной Розену живой манере, он сразу ввел в обиход науки три сотни рукописей, главным образом коллекции Руссо, среди которых было немало редкостей. На «диван» Ибн Кузмана Розен обратил особое внимание, тонко оценив все своеобразие его стихов. Краткую характеристику поэта он иллюстрировал рядом произведений, впервые опубликованных здесь в арабском оригинале. Но этого мало. Живо откликаясь на самые разнообразные явления арабистической жизни, Розен любил и других вовлекать в работу. Чувствуя, что глубже всего к изучению Ибн

Кузмана мог бы подойти лучший тогда в Европе знаток «cosas de España» — испанских сюжетов — голландский арабист Дози, он закончил описание рукописи как бы «провокацией» по адресу лейденского ученого, намекнув, что он основательнее всех мог бы исследовать этот памятник. Дози чувствовал, что дни его склоняются к закату (через два года он действительно умер), и не решился взяться за новую сложную работу. Он откликнулся на вызов Розена только письмом с некоторыми любопытными замечаниями относительно поэта и его стихов.

Научная жизнь рукописи благодаря каталогу Розена началась. В 80-х годах она совершила специальное путешествие в Гранаду, где ею занимался университетский профессор испанец Симонет. Он познакомил своих земляков с кордовским поэтом в специальной статье и часто пользовался деталями из его произведений в своих капитальных трудах по истории мосарабов. Однако за критическое издание никто не решался взяться, и долгие годы сборник Ибн Кузмана оставался доступным только тем, кто мог пользоваться единственной рукописью. Один ученик Розена, тоже под его влиянием, нашел здесь правильный путь, чтобы предоставить ее в руки всех заинтересованных ученых.

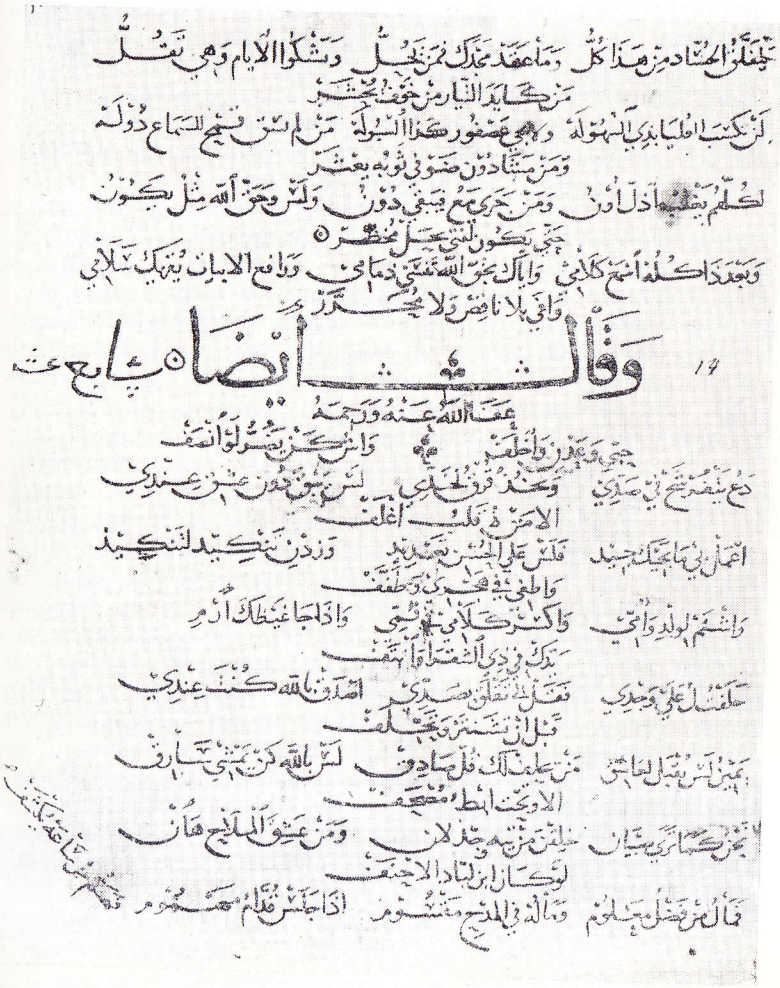
Барон Давид Гинцбург, ученик не только Розена, но и знатока арабской метрики француза Гюйяра, известный коллекционер и библиофил, сахарозаводчик и концессионер, находил все же время заниматься поэзией арабов и евреев, а в его посмертных бумагах сохранилось почти законченное исследование о метрике стихотворений Лермонтова. В широком круге своих интересов, увлекаясь и арабской Испанией, он на свои средства издал в Берлине очень хорошее фототипическое воспроизведение рукописи Ибн Кузмана. Теперь над ней могли работать все желающие. Сам Гинцбург собирался дать специальное большое исследование. Обширный план, намеченный им в подзаголовке и в предисловии, мог бы послужить, как выразился один ученый, программой целой человеческой жизни, но, конечно, он оставил его неосуществленным, все время увлекаясь новыми начинаниями. Большой шаг вперед все же был сделан, и с тех пор наша рукопись уже не так часто ездила в чужие страны; фототипическое издание Гинцбурга сделало ее доступной всем ученым, хотя само быстро превратилось в библиографическую редкость.

Постепенно Ибн Кузман начинал становиться живой фигурой для своих далеких потомков — испанских ученых. С трудом и настойчивостью, начиная с последних десятилетий XIX века, они пробивали брешь в недоверии к испанской арабистике, которую дискредитировал Конде, развенчанный Дози. Наконец, труды Кодеры и Риберы заставили отказаться от принципа «hispanica non leguntur» (по-испански не читают).

В своих работах Рибера смело реконструировал отдельные песни Ибн Кузмана и всю обстановку, в какой они создавались, освещая фон очень сложной картины. Его полные энтузиазма выводы не лишены иногда увлечений, и некоторые ученые подходили к ним с недоверием. Игра судьбы пожелала, чтобы на достойную уважения полувековую деятельность Риберы Запад обратил более серьезное внимание после работы русского ученого, уже младшего ученика Розена.

Романисты начинали понимать, что Ибн Кузман для них так же важен, как и для арабистов. Еще один ученик Розена, известный испанист Д. К. Петров, в последние годы жизни стал заниматься рукописью, но слишком рано покинул этот свет. Арабская оболочка «дивана», плохо передававшая звуковую сторону, иногда мешала проникнуть в законы его фонетики и метрики: нагляднее они стали бы в латинской транскрипции. Такую работу и выполнил двусторонний специалист — арабист и романист — чех Никль, долгое время бывший профессором романских языков в североамериканских университетах. Появление «латинизированного» Ибн Кузмана вызвало оживленные отклики в Европе и в Америке. Они показали, что попытка Никля, быть может несколько преждевременная со строго научной точки зрения и выполненная иногда поспешно, осуществляет все же очень важный замысел. Его издание явилось вторым после Гинцбурга этапом в создании «инструментов работы» над песнями Ибн Кузмана.

Литература об Ибн Кузмане продолжала неустанно расти, надо было дать сводный обзор, и в дополнительном выпуске к международному изданию «Энциклопедии ислама», выходящей на трех языках, появилась уже вторая статья об Ибн Кузмане. Первая — в основном томе — была написана солидным немецким ученым в ту пору, когда исследование Ибн Кузмана только начиналось; составителем второй оказался пионер научного востоковедения в Югославии Байрактаревич, в своей подготовке объединивший школу Венского и Алжирского университетов. Не менее поучительно, что через 60 лет после первой французской заметки Розена о рукописи появилась тонкая



Диван Ибн Кузмана. Рукопись Института народов Азии АН СССР, собрание Руссо, Ms. Or. B86, л. 11а, стихи 16—17

аналитическая работа о некоторых стихотворениях Ибн Кузмана на стильном французском языке талантливого финского романиста и арабиста Ойва Туулио. Конечно, исчерпывающее фундаментальное исследование о кордовском поэте еще впереди, но усилиями целого ряда ученых разных поколений работа поставлена на прочные рельсы и теперь уже не сойдет с них.

Долгие годы в одной витрине постоянной выставки рукописного отдела Института востоковедения — наследника старого Азиатского музея — лежала простая, скромная рукопись на желтоватой бумаге, в невзрачной пестрой выцветшей картонной обложке восточного происхождения. Проходя мимо, я каждый раз останавливался около нее с особым чувством: ведь это был наш знаменитый уник — «диван» Ибн Кузмана. Мне казалось, что рукопись обладает какой-то притягательной силой для ученых: кого-кого только не было среди вглядывавшихся иногда долгие годы в эти пожелтевшие листы или снимки с них — русские и голландцы, англичане и французы, испанцы и немцы; ее загадочные иногда строки расшифровывали евреи и чех с неменьшим упорством, чем серб или финн. Поистине мировой интернационал науки, объединенный одной целью! И как трогательно прозвучали заключительные слова финского ученого в его работе об Ибн Кузмане, продиктованные на больничной койке в последние дни его жизни: «О мирный международный труд! Если бы тебе удалось продолжаться, несмотря на все, что угрожает тебе сегодня гибелью!» Habent sua fata manuscripta (имеют свою судьбу рукописи), и волшебная сила их, объединявшая в едином порыве стольких ученых, когда-нибудь окончательно прогонит злых духов тьмы, стремящихся разъединить людей и народы.

3. Современник первого крестового похода

(1919—1921)

Трудно жилось и арабистам Петрограда в 1918—1920 годах. Весь город замирал и голодал, научные учреждения с темнотой должны были прекращать свои занятия. Университетские лекции по арабистике печально ютились в одном уголке библиотеки, но и там температура была не выше 3 градусов, а иногда замерзали чернила. Маленькая, хотя и стойкая, плеяда арабистов держалась тесно, однако тосковала по своим друзьям: лучшие рукописи Азиатского музея еще в 1917 году были эвакуированы в Саратов, а между тем так часто хотелось посмотреть на какого-нибудь старого приятеля, перелистать его знакомые страницы или проверить впервые мелькнувшую мысль.

Остро почувствовалось это, когда М. Горький основал издательство «Всемирная литература», восточная «Коллегия» которого объединила всех востоковедов в увлекательной, впервые широко задуманной работе. И по арабской литературе был составлен большой план намеченных для перевода сочинений. В первую очередь шла «Книга назидания» — мемуары современника ранних крестовых походов сирийского эмира Усамы (1095—1188). Впервые русские читатели должны были познакомиться с живой картиной всей эпохи, воссозданной простым непринужденным стилем в воспоминаниях старого рассказчика — рыцаря, охотника и писателя.

Редактируя перевод и подготовляя вступительную статью, я еще раз задумался над другими сочинениями эмира-литератора. О них писали неоднократно, однако я с большим изумлением увидел, что никто не обратил внимания на старые — еще 20-х годов прошлого столетия — статьи Френа, который упоминал, правда мельком и попутно, о сохранившемся в Азиатском музее автографе сочинения Усамы «Книга стоянок и жилищ». Я тоже случайно наткнулся на это упоминание в работе преемника Френа, второго директора Азиатского музея Дорна, и, признаться, сразу ему не поверил: мне казалось почти невозможным, чтобы европейская наука, и в особенности французский ориенталист Деранбур, чуть не половину жизни занимавшийся Усамой, не знал ни про это сочинение, ни про автограф своего героя. Конечно, авторитет Френа очень велик, даже в случайных замечаниях надо к нему прислушиваться, но он писал больше ста лет тому назад, когда других сочинений Усамы не знали; он мог смешать его с каким-нибудь мало известным тогда его произведением. Но почему же Френ так определенно считал рукопись автографом? Тщетно я пытался найти какие-нибудь указания в других местах, других источниках; ничего не попадалось, и я безуспешно ломал себе

голову над этим в тяжелые зимние ночи 1920 года, стоя на дежурстве у ворот дома.

Только летом 1921 года рукописи вернулись обратно в свое «жилье», и едва ли не первой моей мыслью при распаковке их был автограф Усамы. Ящики внесли в старое помещение Азиатского музея, с которым наш маленький тогда штат особенно близко сжился за протекшие годы. Опять, как не раз, задрожали у меня руки, когда в них оказался довольно большой том с нужным шифром. Мне стало как-то страшно его раскрывать; при всем скептицизме думалось: «а вдруг я в самом деле увижу внутри строки, писанные еще при жизни Саладина и Ричарда Львиное Сердце их достойным современником, другом и противником!» Первое впечатление сильно разочаровывало — черный переплет был невзрачен и безвкусен, вероятно, не старше последнего владельца перед Азиатским музеем француза-левантинца Руссо в начале XIX века. С некоторым напряжением воли я заставил себя, наконец, раскрыть том и, по обычному рефлексу «рукописника», на этот раз с торопливой жадностью, стал рассматривать конец и начало манускрипта. Разочарование усиливалось: рукопись оказалась дефектной и там и здесь. Конец отсутствовал и теперь, а начало было реставрировано значительно позже основной части другой рукой на новой бумаге. Хотя мы хорошо знаем, что в рукописях чаще всего исчезали действительно последние и первые листы в связи с обычной системой хранения их на Востоке лежа, а не стоя, как у нас, но все же реставрация всегда заставляет насторожиться в вопросе о подлинности сочинения. Часто владелец или какой-нибудь старинный антиквар подделывал начало или конец, чтобы придать рукописи более древний вид или приписать сочинение какому-нибудь знаменитому автору. С грустью и недоверием я пробегал первые строки реставрированной рукописи: «Говорит Усама ибн Муршид ибн Али ибн Мукалляд ибн Наср ибн Мункыз кинанит, да простит Аллах ему...» В настоящем виде, выписанные безличным почерком переписчика, они сами по себе были для меня не убедительны. Опять и опять я задавал вопросы: почему же Френ решил, что это автограф?

Раскрыв рукопись на середине, уже без особых надежд, я вдруг почувствовал, что мое разочарование бледнеет,

и с приливом нового волнения стал ее перелистывать. И бумага, и письмо по внешнему виду могли относиться к XII веку; в руке чувствовалась уверенность человека много писавшего, в системе огласовки и смелости некоторых лигатур сразу был виден не профессионал переписчик, а ученый-литератор. Вся рукопись производила впечатление строгости и своеобразного достойного изящества. Я стал приглядываться внимательнее и вдруг почувствовал знакомый мне трепет, который сопровождает неожиданно вспыхивающую искру каких-то подсознательных открытий: мне показалось, что в отдельных линиях некоторых букв заметно старческое дрожание руки. Если это действительно автограф, то не писал ли его Усама стариком?

Я опять схватился за предисловие, чтобы проверить, нет ли в нем каких-нибудь намеков на повод к сочинению или хронологических дат. К географической литературе, как можно было бы думать по традиционному заглавию, оно никакого отношения не имело. Уже в вводной части с обычным прославлением Аллаха и Мухаммеда я точно почувствовал в кадансированных фразах рифмованной прозы какой-то личный элемент, который просвечивал через традиционные образы. Переход к существу сразу указал мне нить. Автор писал чеканными краткими предложениями высокого стиля, которые звучали здесь серьезно и даже мрачно: «...Вызвало меня собрать эту книгу разрушение, которое постигло мою страну и родину. Ведь время протянуло над ней свой подол и устремилось стереть ее всей своей мощью и силой... Изгладились все поселки и погибли обитатели; жилье стало следом, а радости превратились в печали и горести. Я остановился там после сокрушивших ее землетрясений... и не узнал я ни своего дома, ни дома моего родителя и братьев, ни домов моих дядей, ни сыновей дяди, ни моего рода. В смятении стал я взывать к Аллаху о великом его испытании, о том, что он отнял милости, которые раньше даровал. Потом я удалился... дрожа на ходу и качаясь, как склоненный под тяжестью. Так велика была утрата, что иссякли торопливо текущие слезы, а вздохи следовали один за другим и выпрямляли кривизну ребер. И не остановились превратности времени на разрушении домов и гибели жителей, но гибель их всех случилась во мгновенье ока и еще быстрее, а затем пошли бедствия одни

за другими с этого времени и дальше. И стал я искать успокоения, составляя эту книгу, и сделал ее оплакиванием жилья и любимых. Это не принесет пользы и не поможет, но это верх моих усилий. И Аллаху — славному и великому — жалуюсь я на то, что встретил от своего времени, на свое одиночество, без семьи и братьев, на свое скитание на чужбине, без своей страны и родины...»

Намек на землетрясение, как ярким лучом прожектора, сразу осветил в моих глазах историю книги. В августе 1157 года это стихийное бедствие постигло всю северную Сирию; тридцать крупнейших городов было разрушено, а в их числе и родина Усамы Шейзар. Все его родственники находились в замке одного из них на семейном празднестве, и все они погибли под развалинами. Мне стало ясно, что предисловие отражает не просто риторические образы, а действительное событие; книга несомненно составлена Усамой, в душе которого трагическая катастрофа навсегда оставила следы. Когда же он писал эту книгу, если она в самом деле автограф? В 1157 году ему было 62 года — возраст почтенный, но для человека, дожившего до 93 лет, еще не глубокая старость, когда руки при письме дрожат.

И на этот вопрос рукопись дала мне ответ благодаря хорошей традиции арабских библиофилов делать разные приписки в начале и конце книг, которые попадали в их владение. Одна из таких приписок на первой странице принадлежит известному дамасскому литератору конца XVI века. Из нее ясно, что тогда последний лист рукописи еще существовал и на нем рукой самого Усамы было написано, что он окончил ее в первой джумаде 568 года (т. е. в декабре 1172 года) в Хысн Кайфа. Этот перекрестный луч опять освещает нам один период в его биографии. Десять лет своей жизни, с 1164 по 1174 год, он провел гостем одного эмира в крепости Хысн Кайфа на Тигре, недалеко от Диярбекра. Старость брала свое, и за этот период в его автобиографии уже мало слышно про битвы и охоту, а больше про литературные занятия. К этому времени относится часть его автобиографии, и в это же время, в 1172 году, он написал так долго волновавшую меня рукопись. Тогда ему было 77 лет, и едва ли моим самовнушением объясняются дрожащие начертания некоторых букв.

Последние годы Усама прожил в Дамаске, следя за подвигами Саладина и вспоминая свою собственную молодость. Вероятно, он перевез туда из Хысн Кайфа и свою библиотеку, как сделал много лет тому назад, когда переселялся из Египта в Сирию. Но тогда она со всем имуществом погибла в Средиземном море. «И только гибель книг,— вспоминал Усама,— останется раной в моем сердце на всю жизнь». Теперь переезд совершился благополучно, и таким путем в Дамаске оказалась рукопись-автограф «Книги стоянок и жилищ».

В конце XVI века она была там еще в полной сохранности; приписка второй половины XVII века говорит, что последних листов уже нет. В XVIII веке она попадает в другой центр арабской литературы того времени — в Алеппо; на это указывает еще одна приписка нового владельца, местного поэта и общественного деятеля в 1810 году. Он был приятелем известного нам француза Руссо и, может быть, сам подарил ему эту рукопись. В составе второй коллекции последнего в 1825 году она нашла себе дорогу в Азиатский музей.

Лихорадочно, с жадностью, разбирал я все эти приписки — и каллиграфические и торопливые, и стихотворные и полуграмотные; я невольно думал о том, как ровно за сто лет до меня в них с таким же интересом вглядывался Френ. Теперь для меня был отчетливо ясен ход его мыслей, открывший автограф эмира Усамы. Скромно, двумя скупыми строчками в рукописном каталоге и в затерявшейся газетной статье он отметил свое открытие, без всяких подчеркиваний; европейская арабистика сто лет о нем ничего не знала. Старый Азиатский музей, бережно хранивший уникальную рукопись, оказался свидетелем как бы второго открытия ее уже в четвертом поколении ученых после Френа. Теперь новая волна арабистики вынесла сведения о ней в широкое море мировой науки: они закреплены уже и в «Энциклопедии ислама» и в бесценном своде Брокельмана. Как же не повторить старую истину, что книги имеют свою судьбу? Не всегда только эта судьба прослеживается так отчетливо по всем этапам, как в дефектной, лишенной начала и конца рукописи, которая оказалась автографом сирийского эмира, современника первого крестового похода.

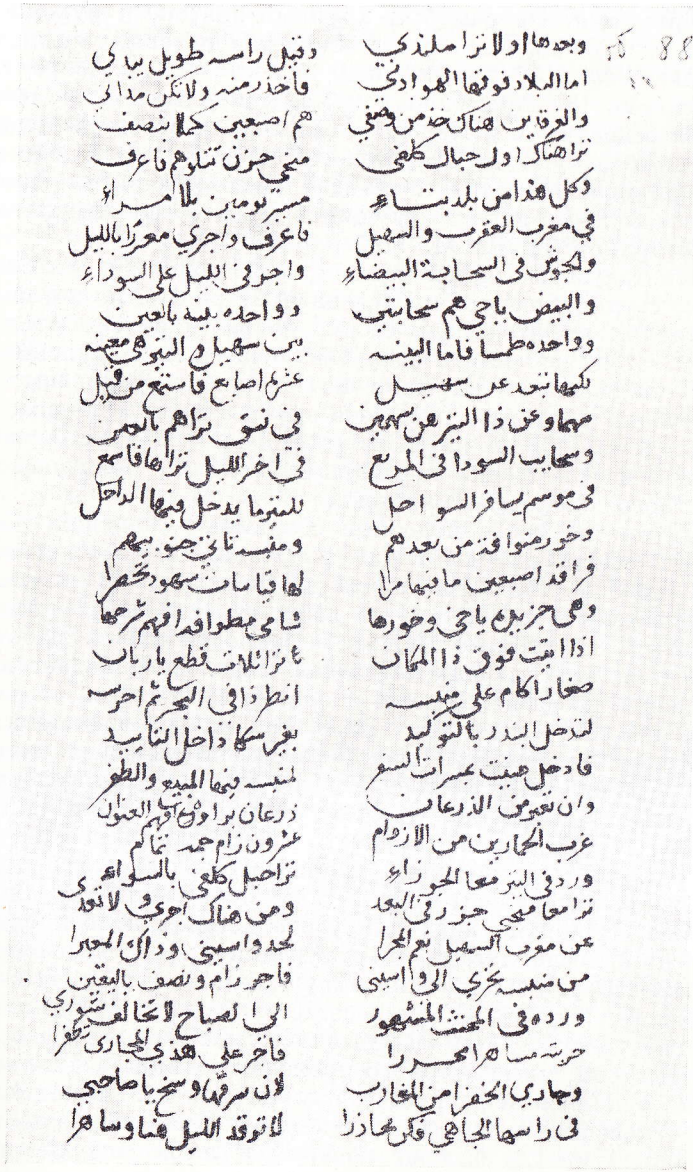
4. Лоцман Васко да Гамы

Работа над рукописями несет свои радости и свои горести, как все в жизни. Однако рукописи ревнивы: они хотят владеть вниманием человека целиком и только тогда показывают свои тайны, открывают душу — и свою, и тех людей, что были с ними связаны. Для случайного зрителя они останутся немы: как лепестки мимозы от неосторожного прикосновения, закроются их страницы и ничего не скажут они скучающему взору. Ничего он не рассмотрит в них, кроме однообразных малоразборчивых строчек, обыкновенно на плохой, дешевой бумаге, в истрепанном оборванном переплете.

Для специалиста в работе над рукописями выпадают и праздники, когда какое-нибудь открытие блеснет перед ним сначала маленькой искоркой, в которой даже боишься обнаружить обман зрения, а затем зальет все ярким лучом, когда уже нет места колебаниям. Но как за минуты синтеза надо платить годами анализа, так и эти праздники даются только в награду за долгодневную будничную работу тщательного просмотра десятков и сотен малоинтересных экземпляров однообразных рукописей второго и третьего сорта. Против некоторых из них создается даже какое-то личное предубеждение, и со вздохом берешь их в руки, когда дошла очередь или судьба натолкнула на них случайно.

К таким пасынкам рукописных коллекций принадлежат сборники, где содержится много сочинений. Чаще всего это традиционные учебные трактаты, которые каждый прилежный ученик хотел объединить для себя в одной как бы «общей тетради». Они повторяются нескончаемое число раз с очень малыми вариантами. Уже с ранних веков в каждой науке был строго установлен незыблемый канон — и в грамматике, и в праве, и в логике, и в арифметике. Порядок почти не нарушается, и все такие «общие тетради» разнятся только объемом да большей или меньшей аккуратностью своего составителя-ученика.

К счастью, хоть и редко, встречаются иногда сборники и другого типа, как бы тематические, в которых специалист стремился объединить нужные ему сочинения. Так, один арабский окулист середины XII века в Иерусалиме составил для своего собственного врачебного употребления сборник десятка ученых трактатов по анатомии, физиологии и патологии глаза с различными рисунками



Лоция Ахмада ибн Маджида. Рукопись Института народов Азии АН СССР. В 992, л. 83б

и чертежами. Он сам был крупный знаток, и рукопись оказалась очень высокого достоинства по своему выполнению. Когда великолепный экземпляр из собрания патриарха Григория попал в Азиатский музей, он произвел сенсацию и в Европе и в арабских странах. Медицинский факультет Египетского университета в Каире опубликовал ряд трактатов из него, подготовленных лучшим знатоком дела, давно живущим в Египте офтальмологом и историком науки М. Мейерхофом.

Иногда оказываются ценными и сборники, в которых даже трудно уловить определенный стержень, но которые составлял любитель для себя с большим вкусом и знанием. Стоит вспомнить одну такую казанскую рукопись, куда включены и отрывки из переписки Авиценны, и изречения распятого в X веке еретика аль-Халляджа, и уникальный, до сих пор неизвестный трактат о шахматной игре — все в очень тщательных копиях, обличающих опытного библиофила-знатока.

И тем не менее подобные сборники — большая редкость, общая же невысокая репутация их обоснована. Обыкновенно только по обязанности подходит к ним исследователь и торопится по возможности быстрее освободиться от утомительной и малопродуктивной работы описания этих «общих тетрадей». Еще более падает настроение, когда попадаются сборники со статьями на разных языках, чаще всего арабском и персидском или арабском и турецком. При неизбежной дифференциации науки за описание их теперь редко берется один и тот же специалист. Наличие турецких частей для арабиста говорит, что арабские трактаты переписаны поздно, а значит, для классического, наиболее творческого периода арабской литературы едва ли найдется что-нибудь интересное; турколог, видя с неудовольствием арабские сочинения, предполагает, что и турецкие, вероятно, только перефразируют или комментируют их, как часто бывает в «общих тетрадях». Так и остается бедный сборник на долгие годы «res nullius» — никому не принадлежащим имуществом, мимо которого проходит всякий специалист, если рукопись подвернется ему на дороге. И все-таки и в отношении к сборникам нужна великая осторожность: рукописи иногда бывают коварны и любят неожиданно мстить за невнимание к ним. Об одном таком случае с собой я и хочу рассказать.

Не один раз в начале своей работы в Азиатском музее, мечтая о продолжении розеновского описания старых коллекций, я брал в руки один смешанный турецко-арабский сборник. Ничьего внимания он раньше не привлекал, и рукописная заметка о нем, неизвестно кому принадлежавшая, была малозначительна. Центр составляли турецкие части: они были переписаны красиво и, с точки зрения турколога, даже довольно рано — в начале XVI века. И по содержанию они могли бы представить интерес. Там был какой-то трактат по музыке, который теперь, после исследований Фармера, мог бы, вероятно, найти свое место в науке. Была там одна из довольно ранних, очевидно, версий романтически-трагичной истории Джем-султана. Этот сын Мухаммеда Завоевателя выступил после него претендентом на престол. Разбитый своим братом Баязидом II, он бежал сперва в Египет к мамлюкскому султану Каитбею. Из северной Сирии он попытался еще раз завладеть османским государством, но после вторичной неудачи бежал в 1482 году на Родос. Гроссмейстер ордена иоаннитов, опасаясь каких-нибудь политических осложнений, интернировал его сначала во Франции, а затем выдал папе. По настоянию своего брата, даже уплачивавшего какую-то сумму, он содержался в плену и был в конце концов отравлен в Риме в 1495 году не то по интригам брата, не то по каким-то соображениям самого папы Александра VI. Через четыре года тело его было перевезено в Брусу и там похоронено. Рукопись, передающая рассказ о его судьбе, по времени как будто достаточно близка к этим событиям и могла бы, вероятно, заинтересовать турколога.

Арабские части казались мне более «серыми». Они были переписаны довольно небрежно, другой рукой, и сводились, главным образом, к трем «урджузам» — стихотворениям какого-то Ахмеда ибн Маджида с довольно скучным, как мне казалось, перечнем морских переходов где-то около Аравии. Автора идентифицировать мне не удалось; наши обычные руководители Брокельман и Хаджжи Халифа ничем здесь не помогали. Я и не был особенно настойчив — стихотворения производили на меня впечатление набора имен для какой-то дидактической малопонятной цели. Несколько раз я брал сборник опять в руки, но описание его так и не двинулось. Между тем, приближалась середина 20-х годов. По-

степенно наши международные сношения восстанавливались; начинала поступать с Востока и Запада литература, понемногу заполнявшая накопившиеся за время войны громадные лакуны. Иногда я не знал, какую брешь в своих познаниях скорее заделывать — так много интересных новостей приносили эти книги. То я хватался за египетские издания, с большой радостью констатируя, как за эти годы перерыва выросли почти не существовавшие раньше арабская драма и новелла. То я бросался к европейской арабистике, поглощая новые издания классических текстов и статьи о новых открытиях. Пробегая их, я любовался, с каким мастерством французский ориенталист Ферран строил неизвестную раньше интереснейшую главу о морской географии XV века: только с его знанием и ближневосточных, и малайских, и индийских, и дальневосточных языков можно было это сделать, только комбинация европейских и восточных источников приводила к таким незыблемым результатам. Постепенно фигура арабского лоцмана Васко да Гамы начинала приобретать живое обличие. Что у него при первом переходе из Малинди в Каликут в 1498 году был пилот араб, об этом давно было известно, но «Малемо Канака» или «араб из Гуджерата» португальских источников звучали как-то темно и смутно. Комбинируя эти данные с арабскими и турецкими свидетельствами, Ферран как раз в эти годы сумел установить настоящее арабское имя пилота, выяснить, откуда он был родом. Мало того, за время нашего разобщения с мировой наукой удалось обнаружить в Национальной библиотеке в Париже и собственные произведения этого пилота; он был не только выдающийся практик, но и теоретик. С немного иронической улыбкой я читал, как до 1912 года эти сочинения лежали никому не ведомыми в Национальной библиотеке, хотя одна рукопись находилась там с 50-х годов.

И почти в тот же самый момент я почувствовал, как краска стыда приливает у меня к лицу. Ахмед ибн Маджид! Да ведь так зовут автора тех стихотворений, что находятся в сборнике, который я со скучающим видом несколько раз держал в руках! С ощущением не то провинившегося школьника, не то наказанного щенка я опять схватил рукопись, которая так обидно посмеялась надо мною за невнимательно-высокомерное отношение к ней. Сомнений быть не могло. И содержание и форма этих

«урджуз» были совершенно аналогичны тем, которые обнаружил сотрудник Феррана в Париже. Конечно, это не был автограф знаменитого лоцмана, но, судя по всем данным, копия могла быть сделана вскоре после его смерти. Все урджузы представляли так называемые «лоции» — морские маршруты с указанием переходов и общими сведениями о пути. Одна касалась плавания по Красному морю, вторая по Индийскому океану, третья описывала дорогу оттуда к восточной Африке. В рукописи Национальной библиотеки их не было, и я поспешил написать Феррану с просьбой сообщить, не известны ли ему три этих лоции по каким-нибудь другим источникам. Ответ был отрицательный, и, по мнению Феррана, их следовало считать униками. Разбор их без предварительной подготовки был делом нелегким, и, несмотря на весь соблазн, я, поглощенный тогда другими обязанностями, не мог за это взяться. Только в одном докладе в Географическом обществе я показал на экране снимок с первой страницы одной из лоций, на которую с интересом смотрели наши моряки. Ферран охотно взялся за предложение обработать открытые уники для издания. Не знаю, успел ли он приступить к этому, но вскоре, в 1935 году, я получил присланное по хорошему обычаю лаконичное печатное сообщение о его смерти. Продолжателей во Франции у него не нашлось, и наши лоции пилота Васко да Гамы опять стали без движения на полочку.

Через несколько лет у меня появился даровитый ученик, который без всякой моей инициативы оказался энтузиастом арабской картографии и географии. С большой радостью он познакомился с этими лоциями и по достоинству оценил их значение. Я с удовлетворением видел, как он упорно преодолевал трудную терминологию и настойчиво добивался идентификации географических названий. Его неслабеющий энтузиазм обещал хорошие результаты, он рос на моих глазах, но судьба прервала его научную работу в самом начале.

Так, этот замечательный сборник все еще ждет своего исследователя. К старости мои руки все больше и больше ни до чего «не доходят», и я могу перефразировать слова того музыканта, который говорил: «В молодости у меня в голове было много мелодий, но я не умел сочинять вариаций, теперь я легко пишу вариации, но не знаю, какую мелодию выбрать». И все же в бессонные ночи

иногда мною овладевает мечта: «Как хорошо было бы иметь хоть пять арабистов с разными уклонами для описания рукописей! Тогда, разделив наши коллекции по дисциплинам, можно было бы в пределах человеческой жизни составить полный образцовый каталог, который ввел бы в научный обиход колоссальный и важный материал. Тогда и лоциям пилота Васко да Гамы не пришлось бы ждать второго столетия, пока ими кто-нибудь заинтересуется и опубликует». Но увы, народная арабская пословица говорит: «„Если бы“ дома не построит!»

Однако в 1948 году судьба несколько порадовала меня: на восточном факультете университета защищалась кандидатская диссертация, которая начала серьезное исследование наших лоций и подготовку их к изданию.

V. В УНИВЕРСИТЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

1. Библиотекари и библиотека

(1901—1930)

Два голоса доносятся ко мне из «служительской» комнаты за стеной через глухое окно. В вечерней тиши библиотеки я хорошо различаю их: один принадлежит эстонцу или латышу Ивану, которого я давно прозвал оптимистом, второй — медлительный и солидно-угрюмый — такого же заслуженного деятеля библиотеки Петра. Время близится к девяти часам, скоро библиотеку пора закрывать, их вечерняя работа кончается, и они — давние друзья, но вечные спорщики — мирно беседуют, как всегда, на библиотечные темы, вне которых нет для них жизни уже больше двадцати лет.

И в этом случайном разговоре ярко отражается темперамент обоих: несмотря на дружбу, они совсем не похожи один на другого. Иван — «оптимист», маленького роста, подвижной, рыжеватый, всегда приветлив и разговорчив, особенно если находится под легким влиянием спирта, что с ним часто бывает; работу каждого из ученых, приходящих в библиотеку, и старых и молодых, он считает своей и без устали таскает снизу или сверху нужные книжки, обходясь без промежуточных инстанций библиотекарей или каталогов. Он знает хорошо латинский шрифт, немного знаком с немецким языком; это позволяет ему на память находить разные «зицберихи», как он называет Sitzungsberichte (протоколы заседаний) и Венской академии и всех других. Рангов он не признает и людей расценивает по их отношению к книгам и частоте посещений библиотеки. Раз, когда вниз зашел профессор Ф. Ф. Мартенс, светило международного права, бывавший часто председателем Гаагского трибунала, Иван его проводил к директору, добавив в напутствие: «Вам внизу делать нечего, там у нас ученые занимаются». Зато не только среди юных приват-доцентов, но даже среди недавно «оставленных при университете», стоит им появиться во внутренних помещениях библиотеки, он быстро находит своих

любимцев, которым помогает не хуже любого библиотекаря и, не жалея, поит «казенным» чаем с сахаром. И надо сказать, глаз его редко ошибается: много восходящих звезд он заметил на своем веку еще задолго, как те были признаны официальной наукой.

Петр — «пессимист», на него не похож: высокого роста, худощавый, с сильной проседью, он хорошо сохранил следы былой военной выправки. Всегда суровый и неразговорчивый, он так же основательно и давно знает библиотеку, так же корректен и услужлив, но к нему как-то стесняешься обращаться с просьбами и поджидаешь, пока вернется сверху Иван. Иван холост; Петр давно овдовел и, говорят, с той поры начал пить, но навеселе его никто не видал в библиотеке: он пьет только перед праздниками и только у себя дома. У него взрослый сын, который служит здесь же младшим библиотекарем и работает по выдаче книг студентам в читальном зале; и к нему Петр относится так же сурово. Пространно он говорит, кажется, только с одним Иваном.

И теперь до меня доносятся короткие реплики его рокочущего баса в ответ на прерывистые, с сильным акцентом, точно торопящиеся куда-то теноровые фразы Ивана. Я не все различаю, да и не слушаю их; целый день, только выйдя на час пообедать, я просидел в библиотеке над бесчисленными выписками для будущей диссертации. Глаза устали, скоро закроют библиотеку, и я забыл про выписки; под зеленым абажуром среди стеллажей с книгами так хорошо думается не то о диссертации, не то о близкой поездке на Восток, и даже приглушенный разговор за стеной точно аккомпанирует мыслям. Вдруг я слышу, как упоминается моя фамилия, и, невольно насторожившись, начинаю прислушиваться. Говорит Иван-«оптимист»:

— Вот Крачковский и по вечерам стал ходить: сегодня опять сидит.

— Видел! — раздается слегка недовольная реплика Петра.— Дня ему мало!

— Верно торопится,— продолжает свои мысли, точно не слушая, Иван.— Скоро его на Восток к арабам в командировку пошлют, пускай еще там поучится.

— Ходить-то он ходит,— как бы начиная задирать собеседника, басит недовольно Петр.— А вот прок какой будет?

— Почему не будет?— все еще спокойно говорит

Иван.— Походит, походит, а там смотришь и диссертацию напишет, защитит, магистром будет. Восточники — это что классики — настоящий народ, не то что юристы. Юрист раз в месяц придет в библиотеку и уже книгу написал: что это за работа? А вот филолог или восточник — года два каждый день сидит, это дело настоящее.

— Ходить-то он ходит,— не сдается Петр,— да выходит ли еще что? Вон и Руднев ходил, а что проку: и диссертации нет, и волосы на голове все вылезли. Смотри, чтобы и с Крачковским того же не вышло.

Мне сразу делается весело, и я невольно начинаю думать не о диссертации, а о том, что вдруг у меня тоже вылезут волосы. Действительно, такой случай недавно произошел от какого-то нервного заболевания с моим старшим коллегой монголистом А. Д. Рудневым; это, конечно, не помешало ему, вопреки прогнозам «пессимиста», со временем стать крупным, хорошо известным ученым. Ответа «оптимиста» я уже не слышу. Минуту царит, очевидно, растерянность и молчание, затем раздается негодующее «тьфу!», и Иван выходит из комнаты, хлопнув дверью. Опять друзья разошлись во взглядах.

Конец их тоже был неодинаков. Как-то в понедельник, уже во время первой мировой войны, я пришел в библиотеку утром и застал Ивана с распухшим от слез лицом. «Петр-то, Петр...»— едва он мог проговорить. «Что такое?»— встревоженный спросил я. «Умер в субботу; пришел со службы, поставил на стол бутылочку, стаканчик выпил, налил второй, да так и умер за столом. Сын и нашел его здесь, а стаканчик полный остался. Какая счастливая смерть!» — неожиданно закончил он и опять залился слезами. С этой поры Иван, лишившись своего постоянного друга и спорщика, стал как-то скучать и все чаще и усиленнее прибегать к спирту. В 1917 году после Февральской революции он вернулся к себе на родину и по слухам устроился тоже где-то в большой библиотеке.

Мое место, откуда я слышал этот знаменательный разговор, досталось мне не сразу. Оно было внизу, в первом этаже, среди стеллажей, где стоял большой стол, целиком находившийся в моем распоряжении. Почти рядом помещался близкий сердцу восточника отдел «О» (Orientalia), откуда было легко приносить нужные мне тогда восточные издания; в другом конце стояли ясеневые светло-желтые шкафы с рукописями, содержание которых по

существу я оценил гораздо позднее. Заниматься было удобно, так как во всем этаже находилось только два-три таких же больших стола для работающих; тишина едва нарушалась мягкими шагами служителей, бравших или ставивших обратно на стеллажи книги. Окно выходило в университетский сад, зимой закутанный белой и плотной пеленой ослепительно чистого снега, нависавшего на ветвях, летом и осенью с густой зеленью, на которой спокойно отдыхали глаза. По вечерам на столе горела лампа под зеленым абажуром. Проходя иногда по Университетской линии в те дни, когда не удавалось бывать в библиотеке, я через деревья сада определял по зеленоватому отблеску, где «мой» стол. Столы эти предназначались, собственно, только для библиотечных работ служащих, и, чтобы попасть за них, надо было снискать расположение не одного Ивана, а и других, более высоких инстанций, пройдя ряд этапов. Делалось это, однако, как-то незаметно и без всяких формальностей.

Нам, восточникам, приходилось знакомиться с библиотекой с самых первых курсов: нужные учебники и пособия, особенно восточные словари, почти всегда на иностранных языках, редко можно было найти в продаже, да и стоили они при выписке из-за границы совершенно немыслимые для студента суммы. Библиотека была обставлена хорошо, а восточники пользовались правом одновременного получения не 6, а 12 книг. Счастливцы, умевшие запастись ими вовремя, до общего наплыва, получали иногда словари даже на дом, другие должны были заниматься в студенческом читальном зале. Для меня, жившего в «Коллегии» через двор, это никакого неудобства не представляло.

Получали мы книги через окна во внутренних помещениях библиотеки, где действовали младшие библиотекари, далеко не всегда бывшие таковыми по возрасту. Они быстро присматривались к нам и безошибочно определяли «удельный» вес каждого студента; для большинства норма молчаливо вырастала до 18 книг, а в серьезно нужных случаях могла превысить и ее. Очень скоро библиотекари изучали и наши очередные нужды: стоило моей тужурке появиться у окна, как оттуда раздавался голос не видимого в темноте библиотекаря: «Вам сегодня „Супплемент“ или „Якута“?», и после ответа появлялись стоявшие здесь же среди справочников знаменитый «Supplement» — словарь Дози или не менее знаменитый у студентов-арабистов, писавших «зачетное» сочинение, которое заменяло экзамен при переходе с третьего на четвертый курс, арабский географический словарь Якута в шести томах.

Более сложные случаи разрешались обыкновенно тоже просто. Как-то раз, заинтересовавшись заглавием, я выписал себе только что полученную в библиотеке новую книгу «Provincia Arabia» Брюннова и Домашевского, не подозревая, что она собой представляет. На следующий день библиотекарь вместо книги вдруг вернул мне требование со словами: «Книга студентам не выдается, в ней много таблиц и карт, вас просит по этому поводу зайти Крейсберг». Смущенный таким неожиданным оборотом, я пошел за служителем первый раз во внутренние помещения библиотеки, где в обычном зале за обычным столом восседал тогда главный библиотекарь, еще не носивший звания директора, Александр Романович Крейсберг. Он был ставленником и продолжателем традиций основателя нового периода в жизни университетской библиотеки К. Г. Залемана, впоследствии академика, директора Азиатского музея и библиотеки Академии наук.

Наш турколог В. Д. Смирнов, недолюбливая немцев, острил над ними и их обычаем печатать инвентари под латинскими заглавиями; он говорил, что раньше был в библиотеке Залеман Revalensis (ревельский), а теперь царит Крейсберг Dorpatensis (дерптский). Надо сказать одно, что порядок был заведен ими в библиотеке большой, и с этих лет она стала носить вполне европейский характер. Крейсберг, сухощавый невысокий старик, уже тогда страдал сильной одышкой и какой-то болезнью вроде рака, которая вскоре и свела его в могилу. Раз в день, в определенные часы, он обыкновенно обходил все этажи библиотеки, и скрип его шагов был всегда слышен за несколько комнат; страха он никому не внушал, но всегда был несколько официален в своей неизменной строгой визитке; слушались его в библиотеке беспрекословно.

Очутившись перед начальством, я все еще продолжал недоумевать, зачем я мог понадобиться, но вдруг увидал на столе два больших фолианта, на корешке которых было вытеснено «Provincia Arabia». Заметив, куда устремлен мой взгляд, Крейсберг спросил: «Вы хотели их взять на дом?» Мне, конечно, ничего подобного и в голову не при-

ходило, я просто предполагал пересмотреть книгу в читальном зале и теперь от неожиданности пробормотал что-то невнятное. Вероятно, Крейсберг меня не понял, потому что сказал: «Студентам не выдается; скажите, чтобы записали на мое имя, и берите». Так по одному взгляду он почему-то решил, что мне можно доверять, и я несколько недель, не торопясь, изучал дома роскошное и редкое издание.

Заниматься в библиотеке мне все же приходилось, как и другим студентам, в студенческом читальном зале, помещавшемся во втором этаже окнами во двор. Там было спокойно, особенно по вечерам; студентов, работавших за столами, было мало; большинство приходило только получить или сдать книги. Там я собирал материалы и для своего «зачетного» и «медального» сочинения в 1904—1905 годах, впервые погрузившись в подавлявших меня своим количеством арабских историков и географов, конечно, еще в печатных изданиях. Здесь с моими требованиями не всегда уже могли справиться младшие библиотекари, орудовавшие у знаменитых «студенческих окон».

В затруднительных случаях откуда-то из недр извлекался один из «старших библиотекарей» С. В. Ларионов, фигура в своем роде замечательная. Восточникам он был хорошо известен, так как считался в библиотеке основным авторитетом по восточным каталогам и знал восточные языки; его рукой были написаны почти все каталожные карточки на восточные издания. На студентов он производил довольно странное впечатление, но лишь через много лет я несколько познакомился с его биографией — одного из тех неудачников в истории нашего востоковедения, которые тогда попадались не только в библиотеках, но и в Государственном контроле или акцизе. Всегда слегка растерянный, очень застенчивый и малоразговорчивый, он жил где-то далеко, за городом, кажется в Лигове, откуда каждый день приезжал на службу. Среди сотоварищей он, по-видимому, не имел особых приятелей. Когда-то, в давние времена, он очень хорошо кончил Лазаревский институт восточных языков в Москве и предназначался для занятия кафедры персидского языка. Потом он был послан за границу в Париж, где усердно занимался в Школе живых восточных языков едва ли не всеми преподававшимися там языками, вплоть до эфиопского. Он успешно защитил даже французскую диссертацию из области персидской



Академик И. Ю. Крачковский и член-корреспондент АН СССР А. Э. Шмидт. Ленинград, 1938

литературы на степень élève diplomé; она была опубликована в «Journal Asiatique», но оказалась как будто единственным печатным его произведением. Отчего оборвалась его научная карьера по возвращении в Россию, отчего всю жизнь он провел незаметным, всегда стремившимся стушеваться университетским библиотекарем, мне так и осталось неизвестным. О прошлом он никогда не говорил, на все вопросы о заграница всегда отмалчивался, но при редких посещениях библиотеки иностранцами объяснялся по-французски без труда, хотя его обычная застенчивость в таких случаях повышалась до невероятных пределов. В библиотеке он работал не покладая рук, но всегда только над какими-нибудь карточками или инвентарями; писал он карточки и для составлявшейся во время моего пребывания на Востоке библиотеки Семинария имени В. Р. Розена. Прожил он долго; изредка в уни-

верситете даже отмечались какие-то юбилейные даты его службы. Во время торжественных заседаний по этому поводу жалко было смотреть на его растерянно, смущенную фигуру. И после революции он продолжал работать в библиотеке, производя впечатление уже какого-то мамонта ледникового периода или последнего могикана среди третьего поколения библиотекарей.

Труженик незаметный и немного странный, во времена моего студенчества единственно он решал библиографические недоумения относительно восточных изданий, а позже, когда я познакомился с рукописями университетской библиотеки, я опять обнаружил карточки, написанные его рукой. Умер он в 30-х годах, разбитый параличом и забытый всеми, кроме одного-двух сослуживцев-современников.

Переход мой из студенческого читального зала в профессорский, расположенный в том же этаже, но окнами в сад, рядом с комнатой для выдачи книг, где находились «студенческие окна», произошел в январе 1906 года не без некоторого курьеза.

Государственные экзамены я сдал в декабре 1905 года; В. Р. Розен мне говорил, что мое оставление при университете решено и я буду зачислен с 1 января. Однако официальное постановление об этом должно было состояться на заседании факультета только в середине января. С первого моего появления в библиотеке 2 января возник формальный вопрос, по какой карточке я должен получать книги — студенческой или профессорской, как все оставленные. Крейсберг был тогда уже безнадежно болен, и его заменял старший библиотекарь М. И. Кудряшев, фигура тоже во многих отношениях замечательная; к нему мы еще студентами присмотрелись, так как он часто появлялся у «окон», помогая младшим библиотекарям в часы особого наплыва. Меня опять провели к директорскому столу, за которым теперь помещалась маленькая фигура М. И. Кудряшева. Оглядев меня поверх свисавшего пенсне, он обычным густым басом строго спросил: «Вы кто? Студент?» — «Нет,— ответил я,— я только что в декабре кончил экзамены».— «Кто же вы? Значит, оставленный?» И на это я, несколько смущенный, должен был ответить отрицательно, разъяснив, что мое «оставление», по-видимому, решено, но заседания факультета еще не было. На минуту задумавшись, но по-прежнему строго М. И. Кудряшев резюмировал краткий разговор: «Значит, вы — никто! Берите книги на мое имя». Так просто формальные препятствия были преодолены, и я водворился в профессорском читальном зале, нисколько не страдая от того, что я — «никто». Через какой-нибудь месяц мое «оставление» было уже утверждено министерством.

Началась вторая стадия занятий в библиотеке. Теперь я мог сам рыться в каталогах, мог ходить по всему помещению и сам доставать книги в неограниченном количестве. Часто приходилось мне спускаться вниз в восточный отдел. Постепенно я приобрел расположение «оптимиста» Ивана, когда он увидел, что я не только готовлюсь к магистерскому экзамену, но и думаю о диссертации.

Начавшиеся занятия с В. Р. Розеном заставили меня обложиться арабскими национальными словарями: и 10-томный «Тадж аль-арус» (Корона невесты) и 20-томный «Лисан аль-араб» (Язык арабов) теперь всегда находились у меня под руками. Для последнего Иван даже достал откуда-то особую этажерку на колесиках, когда увидел, что на столе не хватает места для груды громоздившихся книг. Трудно было мне на первых порах справляться с этими фолиантами: чуть не пять дней иногда уходило на то, чтобы подготовить сколько-нибудь удовлетворительно хоть двадцать стихов для очередного понедельника у Розена. А книги, такие теперь близкие, влекли и в другие стороны: по молодости мне хотелось перечитать все относящееся к арабистике в специальных журналах со времени их основания. С жадностью я просматривал и прочитывал десятки томов всяких периодических изданий, полностью представленных тогда в библиотеке. Скоро я увидел, что со всей массой мне не справиться, и стал ограничиваться систематическим изучением только работ по арабской поэзии, а все прочее заносил в свою разраставшуюся библиографию. Я просиживал целые дни в библиотеке, не только утром, но и вечером, когда не было занятий у Розена. Теперь все библиотекари присмотрелись ко мне, я сам знал всех и как-то незаметно превратился в неотъемлемую часть библиотеки, связанную со всеми ее интересами.

После смерти А. Р. Крейсберга директором стал, естественно, М. И. Кудряшев, его долголетний помощник и выученик по библиотечной части, начавший эру русских директоров. С первого взгляда он производил немного

комичное впечатление: маленького роста с большой головой, украшенной довольно небрежной шевелюрой, постоянно ловивший неизменно падавшее пенсне на широком шнурке. Он говорил всегда серьезно, низким басом, но в глазах часто светился огонек природного юмора, и трудно было понять, не напускает ли он на себя серьезность. Человек добрый и мягкий, он все же сумел поддержать в библиотеке порядок, по заветам Залемана и Крейсберга. Старый холостяк, совсем одинокий, он не знал других привязанностей, кроме библиотеки. Еще задолго до того, как понадобились ночные дежурства, он часто оставался в помещении на всю ночь, проводя ее не раздеваясь в третьем этаже на стоявшей в уголке среди шкафов маленькой кушетке, которая и годилась, кажется, только для его роста. В такие вечера разрешалось мне заниматься в библиотеке сколько угодно, так как выпускал меня и запирал дверь сам М. И. Кудряшев, оставаясь до утра. Сколько мы переговорили с ним по ночам на всякие темы: и о библиотеке, и о науке, и о самых разнообразных сюжетах, особенно впоследствии, в годы разрухи, когда от холода и голода, казалось, вся жизнь начала замирать. И сам он умер от истощения, как-то незаметно, не жалуясь и страдая только за библиотеку и служащих, многие из которых гибли на его глазах от той же причины.

В науке, как и С. В. Ларионов, М. И. Кудряшев был неудачник. Один из близких учеников создателя исторической поэтики А. Н. Веселовского, М. И. Кудряшев к студенческие годы дал ряд лучших изданий читанных им курсов, в молодости перевел размером подлинника «Песнь о Нибелунгах» — большой и серьезный труд, не столько талантливый, сколько добросовестный, по заслугам отмеченный премией Академии наук. Библиотека рано его засосала, и к своей специальности он больше не возвращался; может быть, и страсть к вину сделала свое дело, хоть надо сказать, что сильнее она замечалась до назначения его директором.

Его преемником, правда ненадолго, стал очень хороший библиотекарь, совершенно не пригодный к роли администратора, И. П. Мурзин. Он только курса на три был старше меня по университету, и я хорошо помню его студентом немноголюдного классического отделения историко-филологического факультета. Товарищами его были составившие себе впоследствии солидное имя в науке

историк древнего мира поляк К. В. Хилинский и знаток греческой литературы И. И. Толстой. И. П. Мурзин както мало менялся, если не считать, что вместо серой студенческой тужурки на нем появился достаточно неуклюжий и изношенный штатский костюм. И смолоду он выглядел старообразным: маленький, мешковатый, всегда с растрепанными волосами, очень близорукий; в библиотеке, куда он поступил сразу же по окончании университетского курса, он производил впечатление какого-то гнома. Иногда для ускорения он пускался бежать по библиотечным комнатам вприпрыжку. Знавшие его не удивлялись, но студенты в длинном университетском коридоре с недоумением останавливались при этом странном зрелище, когда он и там показывал свою рысь. Закончив работу в университете, он отправлялся на вечернюю службу в библиотеку Географического общества, где скоро занял место заведующего. В специальной, сравнительно небольшой библиотеке со штатом служащих в два-три человека он был вполне на месте, и его очень ценил председатель Общества, известный географ Ю. М. Шокальский. Очутившись по случайному поводу, как старший библиотекарь за отказом других, директором университетской библиотеки, да еще вдобавок в очень трудные годы, он точно растерялся и не мог удержать твердой рукой довольно громоздкой и большой машины. Служащие его по-своему любили, но всегда смотрели на него с какой-то усмешкой; никаким авторитетом он не пользовался ни в библиотеке, ни вне ее. Он и сам чувствовал это и при первой возможности постарался отказаться от мало подходящего для него поста и опять стал незаметным, но необходимым библиотекарем и в университете, и в Обществе...

Так он и завершил свою жизнь в 1939 году, несколько пострадав под конец от легкого паралича. Вне библиотеки его трудно было бы представить, да и сам он не мог бы жить без нее. Смолоду его еще обуревали разные мечтания: то он хотел идти в священники, то задумывал стать сельским учителем. Но все это были мечтания в стиле некоторых чеховских героев, и, конечно, никуда из библиотеки он бы не ушел, даже при возможности это сделать. Научные порывы его не тревожили, но вынесенной из университета латыни он не позабыл: его изредка приглашали для преподавания ее медикам и ботаникам. При случае он мог составить латинский адрес на какой-нибудь юбилей или

побеседовать по-латыни, чаще всего с профессором-классиком А. И. Малеиным. Впрочем, и в самой библиотеке у него находился собеседник в лице Бронислава Игнатьевича Эпимаха-Шипилло, последнего «старшего библиотекаря», которого я помню со студенческих лет.

Эпимах-Шипилло представлял фигуру не менее замечательную и, в противоположность другим, по-своему разностороннюю. Маленький, толстенький, весь какой-то кругленький, аккуратно подстриженный бобриком, не в пример прочим он всегда был чисто одет, даже с некоторой претензией на изящество, свойственной иногда старым холостякам. О нем я слышал еще гимназистом, так как он приезжал изредка работать в Вильну в Публичную библиотеку и Архив, главным образом по истории Западного края. Первую часть его фамилии «Эпимах» я принимал тогда за имя и немало дивился этому странному сочетанию. Все студенты, желавшие заниматься в университетской библиотеке, прежде всего попадали к нему: он сидел за столом у самого входа, и на его обязанности лежало выписывать именные карточки на право получения книг. Мы всегда приходили в оцепенение от медлительности и аккуратности, с которой он это проделывал, правда с неподражаемым каллиграфическим искусством, особенно в хитроумных росчерках подписи его необычайной фамилии. Будучи по образованию очень основательным филологом-классиком, он преподавал по-латыни греческий язык в Римско-католической духовной академии, помещавшейся тогда на первой линии Васильевского острова в доме, когда-то принадлежавшем Российской академии. Потом я узнал, что он считался знатоком и других, иногда совсем необычных областей, ведя занятия, между прочим, чуть ли не по истории церковных облачений. С одной стороной его деятельности я познакомился довольно близко, хотя он старался по возможности не распространять о ней сведений, по вполне понятным для того времени соображениям: он был видным деятелем белорусского литературного возрождения. Великолепно зная белорусский язык, и в живой речи и в старых памятниках, сам он мало выступал в печати, но всячески поддерживал белорусское издательство и попадавших в Петербург белорусов. Знаменитый впоследствии поэт Янка Купала в годы учения частенько проводил ночи на сундучке в передней его крохотной квартиры. Не один Янка Купала

был обязан многим мало кому известному с этой стороны библиотекарю университета. Таким же энтузиастом белорусского движения был его брат, не то акцизный, не то контрольный чиновник; вместе они ставили любительские спектакли на белорусском языке, что для начала XX века было большой и смелой новостью. Судьба не вознаградила его за всю эту бескорыстную, самоотверженную деятельность. Одно время он был приглашен в Минск для работы над белорусским словарем, но скоро ему пришлось оставить столицу Белоруссии. Вернувшись в Ленинград совершенным стариком, он здесь умер, пробедствовав несколько месяцев, несмотря на посильную поддержку немногих помнивших его библиотечных сослуживцев и друзей.

Студентами нам приходилось иметь дело не столько со старшими библиотекарями, сколько с младшими, выдававшими книги у «окон». Это была уже особая, довольно пестрая группа лиц, обыкновенно без высшего образования, чаще всего детей мелких библиотечных или канцелярских служащих и служителей. Среди них в старшем поколении мне особенно памятны две фигуры: Иван Кириллович Садков и его неизменный приятель Фотий Павлович Хребтов. Мы, студенты, знали их и по другой еще работе. Служба в университетской библиотеке оплачивалась очень плохо, и только одинокие люди, как М. И. Кудряшев, могли просуществовать без сторонних заработков. Оба приятеля, закончив трудовой день здесь, стремились на Петроградскую сторону в Зоологический сад и там в двух противоположных кассах у ворот до поздней ночи продавали входные билеты. Зоологический сад тогда был известен не столько зверями, сколько рестораном, и некоторые студенты, направлявшиеся туда, могли встретиться со знакомыми библиотекарями в необычной обстановке. Хребтов был старше и мрачнее, частенько находился под влиянием винных паров. Когда-то он работал в библиотеке Учебного отделения восточных языков Министерства иностранных дел и пытался раз меня уверить, что барон Розен при составлении каталога арабских и персидских рукописей Отделения попросту переписал существовавший там рукописный каталог бывшего директора барона Демезона. Каким образом сложилась столь фантастическая легенда, мне так и осталось непонятным.

Садков выглядел всегда очень моложаво и, можно сказать, не менялся на наших глазах, хотя скоро среди

младших библиотекарей появились два его сына. Всегда выдержанный, корректный, хорошо одетый, как библиотекарь он производил впечатление очень культурного человека. Предметом его постоянного огорчения было то, что он не получил высшего образования, отсутствие которого закрывало ему доступ к служебному продвижению. С основанием Пермского университета он был приглашен организовать его библиотеку и по всеобщим отзывам справился с этой задачей очень хорошо.

Попадались среди младших библиотекарей иногда и чудаки. В первом этаже за писанием каких-то бесконечных карточек сидел «доктор Фридолин». Познакомившись со мной к тому времени, когда и я из профессорского зала перебрался вниз, он ни о чем не мог говорить, кроме антропологии и антропометрии; в измерении черепов, которым усиленно занимался, он видел кажется единственную основу вообще всех наук.

Мое переселение вниз, где я слышал разговор двух служителей, произошло как-то незаметно и молча было санкционировано не только Иваном, но и всей старшей администрацией. Это было уже в ту пору, когда я впервые начинал чувствовать сердце Восточного отдела библиотеки — его рукописи, которые стояли в шкафах здесь же, в конце библиотечного помещения, противоположном тому, где сидел «доктор Фридолин». «Мой» стол помещался приблизительно посередине между ними, и мне были одинаково близки и Восточный отдел с его печатными изданиями, и шкафы с рукописями. По мере того, как рукописи и здесь все сильнее зачаровывали меня, мне теперь трудно иногда различить, что ярче встает в моих воспоминаниях — люди или книги, которые показывали мне давно отошедших людей, вырисовывавшихся как живые.

Здесь я впервые открыл и буквально почувствовал далекого предшественника по кафедре Шейха Тантави. Даже его египетский предок XVI века Шейх аш-Шарани осветился для меня ярким и точно домашним светом, когда я неожиданно наткнулся на его уникальную биографию. Случайно забытые Розеном в рукописи листки с его заметками говорили о никому неведомой его работе, и как я был счастлив продолжить эту работу, по наброскам пытаясь восстановить ход его мыслей! Увлекшая меня своей загадочностью магрибинская антология с оторванным концом, невидимыми нитями связывала меня не

только со старыми арабами в Испании, но и с современными испанскими арабистами. И в холодные годы после разрухи, читая лекции среди стеллажей с книгами в третьем этаже библиотеки, дружелюбно приютившей маленькую кучку арабистов, так как здесь температура была все же выше нуля, я особенно ощущал эту вековечную связь между людьми и книгами, когда рукопись нельзя отделить от живого человека.

Пусть же и университетские манускрипты найдут отражение на страницах моих воспоминаний: ведь они тоже властно вошли в мою жизнь и часто волновали ее сильнее внешних событий, первая встреча с ними иногда врезывалась в память сильнее навсегда запомнившихся встреч с людьми.

2. Впервые оппонентом на диссертации

(1914)

Рукописи сближают людей. Знакомство с ними, как проникновение в природу, как восприятие искусства расширяет горизонт человека, облагораживает всю его жизнь, делает его участником великого движения человечества на пути культуры. Рукописи, как природа и искусство, должны быть достоянием всех чувствующих их людей и открыты всем ученым: те, кому выпало на долю временно, в пределах человеческой жизни, быть их владельцами или хранителями, должны не забывать этого и не превращаться в скупых рыцарей. Грустно видеть, как несовершенство людской природы превращает иногда рукописи в яблоко раздора, как они встают преградой между людьми или становятся даже орудием преследования. И здесь на долю ученого нередко выпадают неожиданные испытания, но при доброй воле их можно преодолеть, памятуя, что мы в отдельности только «гости на земле», а наука вечна, и надо думать не о нас самих, а о ее движении вперед, для которого не всегда важно, кем именно внесена доля усилия в это движение. Мне памятен в молодости один случай с рукописью, который легко мог вызвать трещину в отношениях между двумя учеными — учителем и учеником; и теперь, через тридцать лет, я с удовлетворением чувствую, что оба они сумели тогда остаться на высоте науки и человечности, как ее понимали.

В серенький петербургский денек в начале сентября 1901 года студенты первого курса факультета восточных языков ждали первой лекции по арабскому языку. Зрелище на факультете представлялось необычное. Хотя для лекции была отведена самая вместительная шестая аудитория, но она была переполнена и на ее скамейках не хватало места. В этом году на один арабско-персидско-турецко-татарский разряд поступило 56 человек — число почти небывалое. Элементарный курс арабского языка являлся обязательным, кроме того, для некоторых других разрядов, и поэтому аудитория, где часто занимались два-три человека, теперь гудела, как улей; были заполнены не только парты, но и все подоконники, а кое-кто стоял и в проходе. Наиболее предприимчивые отправились делегацией к факультетскому служителю Савелию, шипкинскому герою, который всегда в одной и той же позе стоял у печки в так называемом «предбаннике» — проходной комнате, выходившей на площадку лестницы, с одной стороны, в коридорчик с аудиториями, с другой; в этой комнате студенты проводили перемены между лекциями или свободные часы.

На просьбу поставить еще парту Савелий только усмехнулся и сказал: «Подождите, через неделю совсем свободно будет!» Он оказался прав: уже на следующей лекции стало просторнее, а на второй курс из всей этой массы перешло 24 человека, кончило же факультет только 12, считая и «стариков», приставших к нам по дороге. Такова была обычная картина на факультете восточных языков, но в этом не был повинен преподаватель, которого мы теперь ждали, зная только, что его зовут приват-доцент А. Э. Шмидт.

Вошел совсем молодой человек лет тридцати, в хорошем штатском сюртуке, обычном для того времени; с первого взгляда он поразил нас своеобразной одухотворенной красотой и особенно незабываемыми лучистыми глазами. Несколько смутившись, очевидно при виде переполненной аудитории, он прошел на кафедру и начал, поминутно краснея, лекцию с введением в грамматику арабского языка. Все было ясно и понятно; мы сразу забыли про удручившую нас неудачу с первым занятием по восточной каллиграфии, где лектор — крымский татарин и действительно известный каллиграф, как я узнал впоследствии, что-то писал перед нами на доске, но никак не

мог объяснить по-русски, для чего это нужно и что нам самим следует делать. Забыл я и про свою безуспешную попытку в гимназические годы справиться с арабским языком по фундаментальной двухтомной грамматике Сильвестра де Саси, напечатанной еще в начале XIX века. Легко постигая теперь тайны арабского шрифта и страшных для многих глагольных «пород», я не подозревал, что этот мягкий руководитель, «с глазами испуганной газели», по определению одного из моих товарищей, постоянно продолжавший смущаться больше, чем мы, студенты, станет со временем одним из моих ближайших друзей и наша взаимная симпатия ничем не омрачится до его смерти в 1939 году.

На втором курсе А. Э. Шмидт занятий не вел, и мы расстались с ним почти на год, так как на факультете встречали его очень редко. Только одно впечатление, связанное с ним, за этот год промелькнуло ярко: 1 декабря 1902 года защищал докторскую диссертацию Н. А. Медников. Оппонентами выступали В. Р. Розен и А. Э. Шмидт. Последний в ходе своих замечаний упомянул про издание какого-то арабского биографического словаря. Нас особенно поразило, что Розен, встрепенувшись, с обычной живостью спросил, где он напечатан. Это высоко подняло в наших наивных глазах авторитет Шмидта, который, оказывается, иногда мог знать то, что оставалось неизвестным самому Розену; впоследствии мы почувствовали немалую гордость, услыхав как-то, что он был учеником не только Розена, но и знаменитого будапештского исламоведа Гольдциэра.

Встретились мы со Шмидтом только через год уже на третьем курсе, где он вел занятия по мусульманскому праву. Мы были поражены происшедшей в нем переменой: он сильно поседел, ходил с палкой, выглядел каким-то измученным. Впоследствии я узнал, что этот год был особенно тяжелым для него и в связи с семейным горем, и его болезнью, и необходимостью нести нервную и утомительную службу, мало его удовлетворявшую. Приват-доцентура далеко не обеспечивала даже скромных потребностей семейного человека, и А. Э. Шмидту приходилось загружать себя сторонней работой. Мы с изумлением узнавали, что он состоит инспектором Александровского лицея, а после ухода оттуда — секретарем редакции «С.-Петербургских ведомостей», которые издавал князь

Э. Ухтомский, известный в свое время путешественник, интересовавшийся культурой Дальнего Востока. Все это плохо вязалось с исламоведением и арабской литературой, не оставляло возможности для работы над ними, вызывало состояние большой депрессии у человека, стремившегося к широкому научному творчеству, для которого у него были богатые данные. Только со временем нам стало понятно, почему Шмидт относится точно с каким-то испугом к выходившим за программу научным вопросам с нашей стороны: они бередили его незаживающие раны, ответ требовал иногда каких-нибудь справок, а даже для этого у него времени не было. На третьем курсе он вообще редко приходил на лекции, но при встрече относился ко мне с трогательной доброжелательностью.

Летом того года на каникулах я как раз прочитал полностью Коран, пользуясь, конечно, неизменным словарем Гиргаса и переводом Саблукова. Слух об этом дошел до него, и осенью он шутливо приветствовал меня со званием «хафиза». На четвертом курсе наши редкие встречи в университете опять прекратились, так как мы перешли по арабистике к Розену. Меня все это время очень влекло к Шмидту, в котором я как-то инстинктивно чувствовал и крупный научный талант и большую душевность, но стеснялся к нему обращаться, замечая, что это иногда точно вызывало в нем боль и стремление уйти в свою раковину. Знали мы, что он давно готовит большую работу о египетском ученом суфии XVI века аш-Шарании, которая должна стать его диссертацией, но и несколькими годами позже, когда я по окончании университета продолжал заниматься у Розена, на мои любопытные вопросы, не предстоит ли скоро диссертация Шмидта, он только махал с огорчением рукой и приговаривал: «Где там! Пропадает Александр Эдуардович! Говорил я ему, что не надо так рано жениться. А ведь какой талантливый человек!» И, оживившись, Розен начинал рассказывать про отзывы своего приятеля Гольдциэра, который считал Шмидта одним из лучших учеников, приезжавших к нему когда-либо из Европы или Америки. Мне делалось еще более жалко бедного Александра Эдуардовича. По мере своих слабых сил я пытался как-нибудь ободрить его, ближе вовлечь в жизнь научных интересов. Иногда мне казалось, что это может наладиться, но смерть Розена для нас обоих явилась жестоким ударом. Будучи на Востоке, я почув-

ствовал по его письмам, что он находится опять во власти тяжелой депрессии; он даже отказался от доклада о Розене на заседании, посвященном ему. А он мог бы его сделать, конечно, лучше всех арабистов.

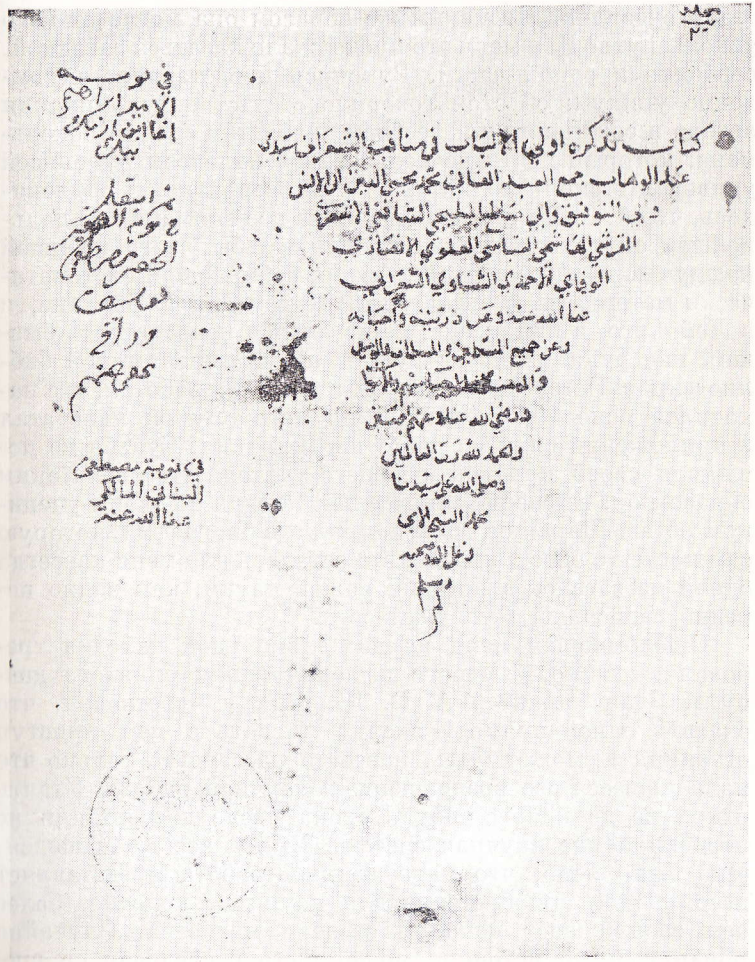
Во время скитаний по Востоку я всячески старался оживить его, выискивал в Каире какие-нибудь мелкие материалы о его любимце аш-Шарании, лишь бы только он не бросал работы над ним. Вернувшись в Петербург, когда разница лет стала меньше сказываться, а совместная работа на кафедре окончательно нас сблизила, я настоял, чтобы он начал, наконец, печатать диссертацию, преодолев ставшую уже болезненной неуверенность в себе и своих силах. Работа шла у нас параллельно: одновременно печаталась и моя диссертация о поэте аль-Вава. Задержек было много, и дело двигалось медленно. Шмидт часто колебался и перепечатывал иногда целые готовые листы; у меня арабский текст набирался в Голландии в известной всем ориенталистам типографии Брилля и самый объем работы требовал изрядного срока. Я читал все корректуры исследования Шмидта, изредка воюя с ним из-за каких-нибудь технических вопросов и шутливо грозясь, что пожалуюсь на это, когда буду оппонентом на диспуте. Вспыхнувшая первая мировая война работы не прервала, и, наконец, в начале осени 1914 года обе книги были готовы. Я твердо решил, что свою диссертацию представлю официально на факультет только тогда, когда работа А. Э. Шмидта пройдет все формальные инстанции.

Диспут был назначен на 19 октября 1914 года. Готовился я к нему очень серьезно. Область исламоведения стояла далеко от моей прямой специальности — арабской литературы, но я по молодости хотел не ударить лицом в грязь и показать публике, которая в довольно значительном количестве собиралась тогда на диспуты, все значение работы в нашей науке. Не скрою, что некоторые коллеги по факультету, плохо знавшие глубину наших дружеских отношений и наших взглядов на науку, ожидали своего рода спектакля, который может получиться от того, что два молодых ученых — учитель и ученик — должны быть оппонентами друг у друга и станут топить один другого. В этом им предстояло разочароваться; я с улыбкой вспоминал рассказы Розена о том, как смолоду его соединила нерушимая дружба с его учителем

Гиргасом, а представители других кафедр, в частности турецкой, вечно враждовавшие между собой, все ожидали, когда же и здесь разразится буря.

Книгу я, конечно, знал хорошо, прочитав корректуры основной части; для меня не подлежало сомнению, что она представляет исключительное явление в нашей науке и крупный шаг в мировой. Все же, относясь, быть может, с преувеличенной требовательностью к своей задаче, я решил теперь проверить ее по всем упоминаемым источникам. И здесь все оказалось благополучно. Конечно, иногда обнаруживались какие-нибудь мелочи, встречались непоследовательности, объяснявшиеся долгим сроком работы над темой и продолжительностью печатания, но источники были использованы полностью, и каких-нибудь пробелов я не обнаруживал. Так шло до середины сентября, когда до диспута оставался приблизительно месяц.

Занимаясь подготовкой к диссертации А. Э. Шмидта, я одновременно продолжал другую, очень увлекавшую меня тогда работу. Мечтая о составлении систематического каталога арабских рукописей университетской библиотеки, я исподволь выбирал по индексу, когда-то напечатанному Залеманом и Розеном, те сочинения, которые меня интересовали в первую очередь. Раз вечером, отдыхая от трудного дня, я опять погрузился в это занятие. Вдруг рука, начавшая механически выписывать незнакомое заглавие, вздрогнула точно от электрического тока. У меня сохранился листок, где неожиданный росчерк от оборванного слова невольно пробежал по всей странице. В индексе отчетливо стояло неведомое мне название «Памятка людям ума о доблестях Шейха аш-Шарания Абд аль-Ваххаба». Такого источника в диссертации А. Э. Шмидта не фигурировало. Что же это значит? Утром у знакомых светло-ясеневых шкафов с восточными рукописями университетской библиотеки я разгадывал эту загадку. Недоразумения никакого не было, и все быстро выяснилось. В коллекции профессора Шейха Тантави, перешедшей в университетскую библиотеку, действительно сохранилось довольно обширное «житие» аш-Шарания, его предков и потомков до XVII века, составленное неким аль-Малиджием, который был в Каире хранителем мечети имени аш-Шарания около 1700 года и хорошо знал всю связанную с родом традицию. Сама по себе рукопись, писанная в 1723 году, не представляла чего-либо выдающегося, но



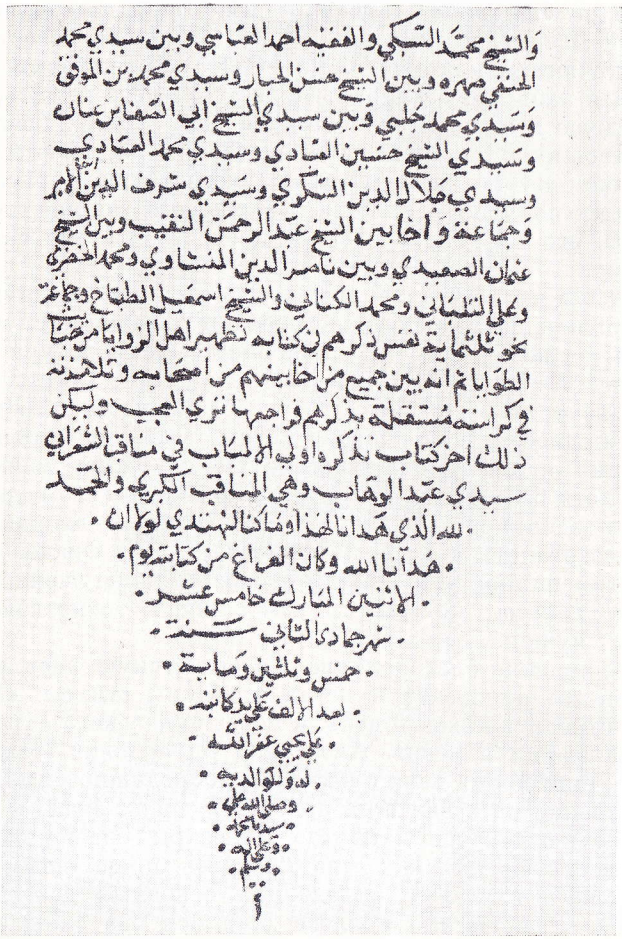
Страница из «жития» аш-Шарания, его предков и потомков до XVII в., составленного аль-Малиджием. Унван рукописи 1135/1724 г. из собрания Шейха Тантави. Библиотека Восточного факультета ЛГУ. Manuscr. Or. 703

она открывала единственную самостоятельную биографию этого суфия, с полным списком его сочинений, с массой любопытных деталей вообще для истории XVI—XVII веков. Значение ее для работы А. Э. Шмидта сразу мне

стало очевидно. Но каким же образом она могла от него ускользнуть? Для меня это продолжало казаться загадкой, особенно в одной части. Рукопись представляла несомненно уникум: об этом говорило отсутствие упоминания автора и сочинения в известном арабистам своде Брокельмана, который почти не пользовался индексом рукописей университетской библиотеки. Этим, вероятно, и объяснялось, что А. Э. Шмидт не обратил на нее внимания. В дальнейшем сыграла роль уже ирония судьбы, часто любящей подшучивать над учеными. Автор, собиравший систематически материалы для долголетнего труда и в Берлине, и в Лейпциге, и в Лейдене, не догадался пересмотреть бывший под руками индекс рукописей университетской библиотеки в Петербурге, где он постоянно работал, где находился основной оригинал, по которому он напечатал в приложении одну из работ аш-Шарания. Судьба не пощадила своей иронией и нашего учителя Розена. Каким образом он, в течение многих лет беседуя со своим учеником об аш-Шарании, не вспомнил его биографии, которую сам когда-то внес в индекс, это осталось для меня навсегда одной из загадок в истории нашей науки, как видно нередко зависящей от случайности.

Ошеломившая меня на несколько дней находка требовала, однако, быстрого решения ввиду близкого диспута. Зная характер А. Э. Шмидта, я чувствовал, что сказать о ней прямо — значит вызвать в нем приступ отчаяния и, может быть, навсегда расстроить только что наладившееся его возвращение к научной работе. Утаить открытие до какого-нибудь срока после диссертации не позволяла мне научная совесть. Выход все же нашелся. Мне было ясно, что напечатанная работа представляет несомненное приобретение для науки и, конечно, более чем заслуживает искомой степени магистра. Случайно обнаруженный источник может быть исследован со временем и, как мне казалось, принципиальных выводов работы, основанных на других материалах, не изменяет. Сообщить о нем автору я должен, конечно, до диссертации.

Найдя такое решение, я быстро успокоился и только по молодости, прежде чем открыть секрет А. Э. Шмидту, позволил себе маленькое озорство. Встречаясь тогда с ним чуть ли не каждый день, я стал поддразнивать его вопросами, тему для которых доставляла мне университетская рукопись. Сколько было жен у аш-Шарания,



Страница из «жития» аш-Шарания, его предков и потомков до XVII в., составленного аль-Малиджием. Колофон рукописи 1135/1724 г. из собрания Шейха Тантави. Библиотека Восточного факультета ЛГУ, Manuscr. Or. 703

какого он был роста, писал ли он по таким-то вопросам? Бедный Шмидт, не имевший на это ответа по известным ему источникам, недоумевал и все более заинтриговывался, откуда я набираю материал. Жалея долго его мучить, через неделю я открыл ему одному свою находку. Реакция оказалась именно такой, как я опасался. Под первым впечатлением он хотел взять свою диссертацию обратно и отложить получение степени. Большого труда мне стоило убедить его не делать этого и предоставить все своему течению.

Диспут чуть-чуть не пришлось отложить по другому поводу: как со мной бывало нередко в важных случаях жизни, за неделю до него я заболел — температура поднялась чуть не до 40°, и я лежал пластом. Шмидт стал опять говорить, что очевидно судьба не хочет, чтобы он защитил диссертацию вовремя. По счастью домашний врач, которому я предъявил ультиматум поставить меня на ноги, хотя бы на один день, дал какое-то, по его выражению, «конское» средство, и я прямо с дивана отправился на диссертацию, как полагалось тогда, во фраке, хотя и взятом напрокат, с каким-то странным ощущением не своего голоса, который я сам слушал, точно говорил кто-то чужой.

Все прошло благополучно. Свою обычную речь «официального» оппонента я начал арабским стихом: «Учил я его стрелять каждый день, а когда рука у него окрепла, он выстрелил в меня». Александр Эдуардович, тоже во фраке, смотрел на меня с кафедры, добродушно улыбаясь: единственно он среди всех присутствующих знал, к чему я клоню и о чем будет идти речь. Я не скрыл своей находки, но осветил ее так, как мне казалось правильным для настоящего случая с выделением основных достоинств работы. Любопытные коллеги остались без ожидаемого ими «спектакля», и диссертация закончилась мирно.

Не все были согласны с моей точкой зрения и не все ее понимали. Одна присутствовавшая на диспуте дама, мало знакомая с обычной процедурой, очень обиделась за нападки на А. Э. Шмидта, как ей показалось, и вслух выражала свое негодование. Александру Эдуардовичу стоило немалого труда впоследствии несколько ее успокоить, объяснив сущность дела. Были и более серьезные недовольства. На другой день в университетской галерее во дворе я встретил своего уважаемого учителя профес-



Экслибрис И. Ю. Крачковского

сора Б. А. Тураева. Он возмущался, как факультет мог пропустить диссертацию, для которой остался неизвестным один из основных источников, и негодовал на меня. Я постарался изложить свою точку зрения, но, кажется, без особого успеха. Я никогда не был сторонником принципа fiat justitia, pereat mundus (да свершится справедливость, пусть погибнет мир), потому что, если мир погибнет, то и справедливость негде будет проявлять. Наука движется живыми людьми, и если не думать о них, то и сама наука может остановиться. Поэтому и теперь, через тридцать лет, мне все-таки кажется, что мы с Шмидтом были правы, и это показала вся наша дальнейшая жизнь. Недаром тогда, когда Александр Эдуардович приезжал в Ленинград из Ташкента, куда он переехал в 1920 году, мы и в 30-х годах часто любили вспоминать, как я нашел рукопись биографии аш-Шарания, как я его поддразнивал своими вопросами, вспоминали и наш маленький заговор, когда я был впервые оппонентом на диссертации, и разоча-

рование некоторых коллег, которые все ждали, кто из нас начнет говорить другому неприятности.

История с находкой рукописи имела свое продолжение. На этот раз судьба несколько поиронизировала надо мной, «чтобы не зазнавался», как любил говорить один старый провинциальный ученый. Заканчивая свою статью об университетской рукописи в ноябре 1914 года, я выразил надежду, что второй экземпляр, вероятнее всего, найдется на родине аш-Шарания в Египте. Однако он обнаружился гораздо скорее и гораздо ближе, чем я думал. Как раз в эти годы у меня был в университете один даровитый, очень своеобразный ученик, болгарин, сын кузнеца, с неизбежной фамилией Шишманова. Он отличался большим и тонким литературным вкусом, знал массу языков и в это время очень увлекался моим любимцем — поэтом-философом Абу-ль-Аля, переведя почти полностью цикл его поэм, посвященных «кольчугам». Многими своими увлечениями он заражал и меня: несколько позднее мы вместе перевели с шведского роман Вернера фон Хейденстама «Эндимион», действие которого происходит в Дамаске. Когда летом 1914 года он уезжал к себе на родину, я посоветовал ему посмотреть, нет ли арабских рукописей в Софийской публичной библиотеке. Оказалось, что там в отделе под названием «Турската архива» существовала целая коллекция «Библиотека та на Пазвантоглу», связанная с именем известного болгарско-турецкого деятеля на рубеже нового времени. Основную массу ее составлял не столько турецкий архив, сколько именно арабские рукописи, в большинстве очень хорошей сохранности. Краткий каталог показавшихся ему наиболее интересными А. И. Шишманов мне и прислал. Велико было мое изумление, когда среди них я нашел еще один экземпляр биографии аш-Шарания, составленной аль-Малиджием. Таким образом, памятник, до сих пор не зарегистрированный ни в одном из европейских собраний, неизвестный даже на родине аш-Шарания в Египте, почти одновременно нашелся в двух славянских странах в очень хороших рукописях. Трудно объяснить все такие случайности в истории арабских манускриптов, но, конечно, они будут повторяться еще долго, пока наша наука так мало разработана. Болгария, совершенно не изученная с этой стороны, таит, вероятно, немало неожиданностей. Ведь до сих пор мы ничего не знаем о рукописи географии аль-Идриси где-то



Шейх Тантави (1810—1861)

в Шумле, известие о которой как-то проскользнуло в одном географическом журнале. И это при том, что хорошие рукописи аль-Идриси во всем мире можно пересчитать едва ли не по пальцам одной руки. А к 40-м годам еще одна рукопись биографии аш-Шарания нашлась, действительно, и в Каире.

3. От Каира до Волкова кладбища в Петербурге

(1916—1930)

Больше ста лет назад 22 августа 1840 года в «С.-Петербургских ведомостях» появилась не совсем обычная статья. Невский проспект для петербуржцев того времени играл особую роль, и всем, вероятно, была памятна недавняя

повесть Гоголя с посвященным ему названием. Статья начиналась в приподнято-романтическом стиле звучными фразами: «Вы меня спрашиваете, кто этот красивый мужчина в восточном костюме, в белой чалме, с черной как смоль бородою, с живыми полными огня глазами и умным выражением лица, загорелого — сейчас видно — не на нашем бледном солнце севера. Вы уже два раза встречали его, выступающего гордой поступью, по плитам светлой стороны Невского проспекта, и как непременный член Невского проспекта в хорошую погоду тотчас его заметили, и непременно хотите знать, кто он». Автор открывает, что это Шейх Мухаммед Айяд ат-Тантави, только что приехавший «с берегов Нила» для занятия вакантной кафедры арабского языка в Институте восточных языков Министерства иностранных дел. «Теперь вы можете прекрасно выучиться говорить по-арабски и не выезжая из Петербурга», заканчивалась статья. Автором ее был молодой тогда ученик арабиста Сенковского П. Савельев, впоследствии известный археолог и нумизмат.

Едва ли многие из читателей «С.-Петербургских ведомостей» со временем узнали, что через два десятка лет на «татарском» кладбище у Волковой деревни появилась новая могила с хорошим памятником, на котором была надпись на двух языках — арабском и русском. Русский текст гласил: «Ординарный профессор С.-Петербургского университета статский советник Шейх Мухаммед Айяд Тантави. Скончался 27 октября 1861 года, на 50-м году жизни». Здесь закончился дальний и необычный житейский путь, начавшийся за полвека до того в маленькой деревушке около Танты в Египте.

Каким-то экзотическим цветком промелькнула эта жизнь в старой России, и современникам невольно эта фигура представлялась в романтическом ореоле. Ноты романтики звучат и в статье «С.-Петербургских ведомостей» и в рассказе одного ученика о том, что, готовясь к переезду в Россию, Шейх «купил в своем племени невольницу, послал ее для образования в Париж и потом на ней женился». Современники могли хорошо знать его облик по прекрасному литографированному портрету конца 1853 года известного художника Мартынова в альбоме деятелей современной науки. Он помогает нам понять то впечатление, о котором говорит статья «С.-Петербургских ведомостей». На восточном одеянии оригинально

выглядит орден Анны на шее, с которым изображен Шейх на портрете; он сам добродушно посмеялся над этим в своем двустишии:

«Поистине я видел чудо в Петербурге: там Шейх из мусульман прижимает к груди своей Анну».

Земляки рано потеряли Тантави из виду: даже в конце 80-х годов многие из них не знали, в живых он или нет.

Может быть, и для нас, русских арабистов, эта экзотическая фигура предшественника навсегда осталась бы в смутных романтических очертаниях, если бы не его рукописи. Как бывает часто, рукописи сумели лучше современников показать человека. В университетской библиотеке все у тех же светло-ясеневых шкафов я впервые ощутил настоящего Тантави, я узнал, что наполняло его жизнь и в Каире и в Петербурге, над исписанными им страницами я понял, может быть, никому неведомую, кроме этих листов, тяжелую трагедию последних лет его существования. Сперва как-то интуитивно привлекла меня эта одинокая в истории нашей науки фигура, и скоро я уже не мог оторваться мыслями от нее. Планомерные поиски добывали обыкновенно только маленькие камешки для мозаичной картины, но счастливые находки и неожиданные случайности часто ярким прожектором освещали предстоящий или пройденный путь, нередко заставляя вспоминать, что на ловца и зверь бежит. Как всегда, работа шла параллельно с другими занятиями, и понадобилось почти пятнадцать лет, чтобы я решился в небольшой книжке подвести итог тому, что мне удалось узнать про Шейха Тантави; и здесь для того, чтобы сказка скоро сказывалась, дело должно было делаться неторопливо.

В 1919 году предстоял столетний юбилей С.-Петербургского университета. Готовиться к нему начали заранее, еще до революции, и уже в 1916 году возникла мысль о составлении истории отдельных кафедр. У нас, арабистов, открывалась любопытная картина: первым профессором был француз Деманж (1819—1822), вторым — поляк Сенковский (1822—1847), известный барон Брамбеус, и третьим — араб, наш Шейх Тантави (1847—1861). Если о первом нечего было сказать, так как он не оставил никакого следа в науке, кроме неосновательно приписанной ему чести обучения Грибоедова персидскому языку, если о втором существовала большая литература, правда

как о писателе, а не арабисте, то с Тантави я сразу наткнулся на ряд недоразумений в печатных материалах или просто отсутствие сколько-нибудь серьезных сведений.

Надо было все строить сызнова, и я обратился к испытанному пути — к рукописям.

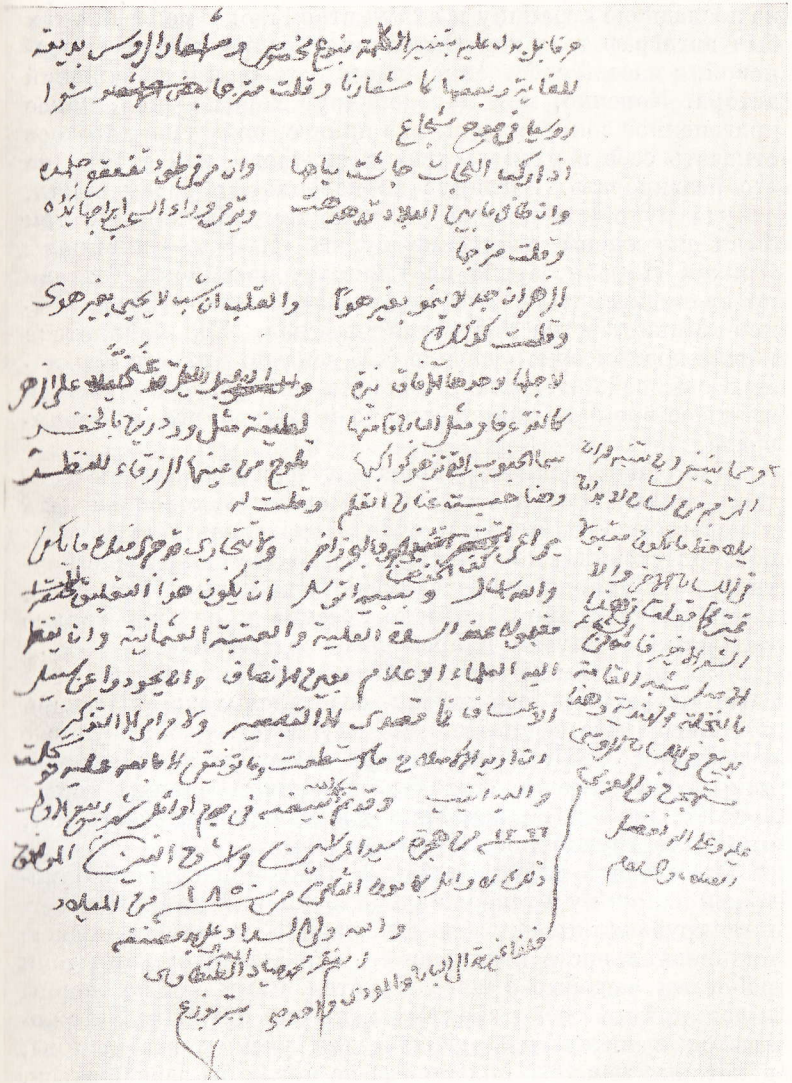
Мне было известно, что составленная им коллекция около полутораста томов перешла в университетскую библиотеку. Знал я, что там находится немало любопытных памятников литературы, частью даже вошедших в обиход науки, но не они теперь интересовали меня. Мне надо было выяснить, не найдется ли среди них каких-либо материалов для биографии Тантави, для характеристики его научной и литературной деятельности. Надежда меня не обманула: в первых же рукописях мне стали попадаться никому неведомые сочинения самого Тантави, начиная с юношеских лет, переписанные им сочинения других авторов, рукописи с его пометками, поправками и приписками. Я решил, не торопясь, пересмотреть все полтораста томов, страница за страницей. Число это выросло еще более, когда я увидел, что на некоторых рукописях, находившихся в университетском собрании до Тантави, тоже попадаются его пометки. Работа была действительно мозаичной, очень медленной и кропотливой, но единственно она могла дать прочную базу и щедро наградить за потраченный труд не только внутренним удовлетворением, но и фактическими результатами. Передо мною постепенно, шаг за шагом, обрисовывался весь «круг» учения и чтения современников Тантави, его собственные интересы, далеко выходящие за пределы этого «круга», его первоначальные, робкие еще попытки сбора материалов, отвечающих на запросы европейских учеников и друзей. Приписки помогали установить последовательные этапы его жизни. Одни рукописи он приобретал еще питомцем, а затем и преподавателем аль-Азхара, высшей школы мусульманского мира в Каире, над другими проводил невольный досуг в длительном карантине Смирны или Стамбула во время путешествия в Россию, третьи переносили его мыслями на родину с далекой чужбины, где он кончил свою жизнь. Постепенно, дата за датой, строилась хронологическая канва его биографии, и тусклый романтический облик начинал расцвечиваться яркими красками жизни.

Новой эрой во всей моей работе оказался 1924 год. С пробуждением интереса к своей старине про Тантави стали вспоминать его земляки. Заметки о нем как раз с этого года начали появляться и в «Известиях» Арабской академии в Дамаске и в каирских журналах. Я видел, что родина Тантави далеко не располагает тем материалом, который накопился у меня, и с радостью принял участие в арабской прессе, оживляя образ, одинаково близкий и для нас и для арабов. И здесь судьба опять свела меня с пашой Ахмедом Теймуром, библиофилом и ученым. Кругозор его был широк: он так же хорошо мог понимать и слепого поэта-философа XI века Абу-ль-Аля, которым мы вместе увлекались, как и своего земляка XIX века, который жил и умер среди русских где-то на севере. Он ценил мои усилия, и после его смерти я узнал от сына, что присланная мной фотография с портрета Тантави всегда стояла у него на столе. И Европа начинала интересоваться оригинальным петербургским профессором. Редактор оправившегося после мировой войны известного международного издания «Энциклопедия ислама» в 1924 году попросил меня дать статью о Тантави. Суммируя с лаконичной краткостью результаты почти десятилетней работы, я отчетливо почувствовал веление какого-то внутреннего голоса, который настоятельно внушал, что теперь я должен написать о Тантави книгу. И как бы в награду за это решение тот же 1924 год принес мне радостное открытие.

Просматривая только что вышедшую книжку одного востоковедческого журнала, я натолкнулся в нем на очередной список арабских рукописей в стамбульских библиотеках. Время от времени их публиковал один немецкий ученый, арабист-неудачник, которому не нашлось места в Германии и пришлось бросить якорь в Стамбуле скромным учителем средней школы. С большой настойчивостью, самоотверженно, он урывал время, чтобы погружаться в море рукописных сокровищ, извлекая оттуда немало перлов. И теперь, наряду со всякими классическими памятниками в мечети Риза паши в Румели Хисар, я вдруг увидел заглавие, которое заставило меня забыть про все остальное. Оно гласило: «Подарок смышленным с сообщениями про страну Россию Шейха Мухаммеда Айяда ат-Тантави, автограф 1266/1850 года, посвященный султану Абд аль-Меджиду». Никаких сведений о таком сочинении в моих материалах не было, а что оно собой

представляет — об этом приходилось только догадываться. Скорее всего, думалось мне, это какой-нибудь ординарный географический очерк. Я все еще не совсем верил, что рукопись действительно автограф; я боялся, нет ли здесь какого-либо недоразумения. Но имя Тантави было названо, и я не находил себе покоя. Терпенье мое подверглось, однако, очень длительному испытанию. Международные отношения только в 1927 году позволили мне получить копию с рукописи. Судя по почерку, она была снята турком, плохо знавшим арабский язык и не всегда удачно разбиравшим оригинал, особенно в мудреных русских названиях. Но сомнений в том, что сочинение принадлежит Тантави, не оставалось. С волнением я пробегал страницы и не мог оторваться от них, сразу почувствовав, что это — лучшее сочинение Шейха, к тому же такое близкое нам, так живо отражающее его наблюдательную, отзывчивую ко всем явлениям натуру, его острый глаз, его тонкий, добродушный юмор. Это была не простая география, как думалось мне по заглавию, вернее не только география. В своем сочинении Шейх обстоятельно описывал путешествие из Каира в Петербург, вспоминая и поездку на родину в 1844 году, подробно говорил о своих впечатлениях о России и русских за десятилетнее пребывание здесь, о своих поездках на каникулах и в Прибалтику, и в Финляндию. Для земляков он детально излагал историю России в новое время и рисовал топографию Петербурга в его эпоху. Все это сопровождалось такими живыми и яркими черточками, которые и теперь бесценны для нас. Я радовался, что еще одно сочинение Тантави становится известным и науке и его соплеменникам. Однако едва я успел проштудировать основательно копию стамбульской рукописи, как судьба подарила мне другую приятную неожиданность.

В начале осени 1928 года ко мне раз зашел мой ученик, молодой талантливый семитолог, рано унесенный тяжелым 1942 годом во время блокады. Всегда выдержанный и ровный, он нередко навещал меня по всяким научным вопросам, но теперь я сейчас же увидел, что он пришел неспроста. Протянув мне с обычным сдержанным видом какую-то рукопись в простом картонном переплете, он пояснил: «Вот нашел у букиниста на Литейном, кажется какая-то география, может быть, вам будет интересно». Раскрыв ее, я ахнул: на меня смотрел хорошо знакомый почерк



Страница из рукописи Шейха Тантави «Описание путешествия в Россию». Колофон автографа. Рукопись из собрания академика И. Ю. Крачковского

Тантави конца 40-х годов. В волнении я быстро заглянул на последнюю страницу и ахнул вторично: у меня в руках был автограф того же «Описания России», автограф черновой, с массой собственноручных поправок и дополнений автора. Конечно, мой молодой друг хорошо знал, какое драгоценное сокровище он мне принес, но ему не хотелось отказать себе в удовольствии посмотреть, как я буду на это реагировать. Взглянув на переплет, я сразу понял, откуда рукопись попала к случайному букинисту: там были вытеснены латинские буквы «I. N.» — инициалы Иринея Нофаля, араба из Триполи, преемника Тантави по преподаванию в Учебном отделении восточных языков Министерства иностранных дел. Его библиотека пошла прахом еще в начале XX века по милости неудачных сыновей, и жалкие обломки ее нередко выплывали в разное время в книжном море и Петербурга и Ленинграда.

Две обнаруженные рукописи лучшего сочинения Тантави давали теперь полную возможность хорошо издать и перевести его, но здесь судьба оказалась уже сурова: оба мои ученика, которые брались за это один после другого, рано умерли, не доведя работу до конца. И русские, и арабы знают про «Описание России» до сих пор только по кратким статьям и арабскому содержанию.

Как бы в заключение работы над Тантави для меня осветился эпилог его жизни, осветился тоже благодаря рукописям. По официальным документам я знал, что уже с сентября 1855 года он, говоря казенным языком медицины того времени, «страдал параличом нижних конечностей», но чем он заполнял последние пять-шесть лет, мне было трудно представить.

Здесь опять помог случай. В каждой большой библиотеке и в старину и теперь находились и находятся незаметные труженики, как бы совершенно утратившие свою индивидуальность и слившиеся с библиотекой или теми работами, которые в ней создаются. Сами они не творцы и даже редко имеют свои темы, но они органически вживаются в интересы других и для ученых незаменимы; некоторые темы без них иногда не могли бы завершиться. Один из таких тружеников, совсем молодой человек, но безнадежно уже отравленный библиотекой, раз принес мне на стол около шкафов с рукописями, где я кончал свои занятия над Тантави, кипу больших писчих листов середины прошлого века, сплошь покрытых арабскими и русскими письменами вперемежку. Листы нигде не были зарегистрированы и валялись внизу какого-то библиотечного шкафа, где их и обнаружил мой доброжелатель, инстинктивно почувствовав, что они имеют какое-то отношение к моему Тантави.

Сперва я ничего не мог разобрать. Груда бумаги содержала не менее полутораста листов, заполненных не то чертами, которые любят иногда проводить дети на белом пространстве, не то каракулями взрослого человека, который учится писать. Расположив их кое-как в системе по внешнему виду и по имевшейся на отдельных страницах нумерации, я начал понимать, в чем дело, и мне стало сразу жутко. Листы, как оказалось, содержали все те же близкие Тантави сюжеты: собрания пословиц на египетском диалекте, образцы народных приветствий и песен, разные материалы по риторике, лексике, грамматике. Но все это было писано, очевидно, уже тогда, когда «паралич нижних конечностей» стал распространяться на руку. Больно было смотреть, как постепенно владельцу ее приходилось вести все бóльшую и бóльшую войну с процессом письма. Перо или калам не слушались его, втыкаясь в бумагу при каждом движении; рука старалась выводить арабскую или русскую букву, но вместо этого вдруг судорожно дергалась и какая-то фантастическая изломанная черта пробегала чуть не по всей странице. Материал везде был живой и интересный, но если первые листы еще поддавались, хотя с трудом, разбору, то дальше дело шло все хуже и хуже: временами буквы сливались в какую-то стенографическую линию или напоминали писание слепого, которому в руку дали лучину, обмазанную краской. И так продолжалось на протяжении десятков листов; красноречиво и страшно они говорили о том, как упорно цеплялся Тантави за призрачную возможность вести умственную работу, от которой его живую, несдававшуюся натуру отрывали свои собственные немеющие руки. Если в рассказах современников можно найти тему для романа о Тантави, то эти листы говорили о тяжелой трагедии его догоравшего существования, которое под занавес вспыхнуло зловещим «антоновым огнем» гангрены. Так рукописи открыли мне все картины этой житейской драмы, которая началась в маленькой египетской деревушке, развернулась в центрах арабской науки Танте и Каире,

перешла в столицу России С.-Петербург и запечатлена могильной плитой на Волковом кладбище.

Моя книжка о Тантави вышла в начале 1930 года. Не всем она почему-то понравилась, но меня утешило то, что арабисты и арабы, а особенно земляки Шейха, ее оценили и нашли для нее теплое слово. Я много пережил, пока работал над нею. До сих пор, когда меня спрашивают, какие из своих работ я считаю достойными памяти в науке, я всегда называю только четыре книги — о дамасском веселом поэте, что был зазывалой на фруктовом рынке, об изящной сатире мудрого слепца поэта-философа из Сирии, о теории поэтического слова, которую создал эмир, поэт и тонкий филолог, что на свое несчастие пробыл один день багдадским халифом, и последнюю — о египетском шейхе, профессоре в Петербурге. Но иногда мне кажется, что больше всех я почему-то люблю именно последнюю, и часто я открываю ее, чтобы посмотреть на портрет того, о ком идет в ней речь.

4. Аль-Андалус и Ленинград
(1906—1942)

Молодому арабисту, который захочет проникнуть основательно в науку, предстоит сложный, иногда окольный путь. Ему надо прежде всего овладеть разнообразными «инструментами работы» и едва ли не в первую очередь западноевропейскими языками. Число нужных для него языков с прогрессом науки все растет и растет. Уже в XVIII веке навсегда кончился тот период, когда ученый мог ограничиться одним латинским; теперь на первых шагах он убеждается, что для пользования даже основными неизбежными пособиями надо владеть не тремя языками — английским, французским и немецким, но прибавить к ним и четвертый — итальянский, арабистические работы на котором со второй половины XIX века стали в первый ряд мировой научной литературы. Связь Испании с арабским миром арабисту ясна еще по учебной истории средних веков, но теперь он узнает, что дружная плеяда испанских арабистов создала серьезную школу с конца XIX века и по многим уже вопросам нельзя обходиться без их трудов. Задумает он углубиться в специальную область исламоведения, и быстро услышит, что лучший курс мусульманского права издан на голландском языке, как и целый ряд основных работ по внутренней истории ислама. Солидные и оригинальные школы датских и шведских арабистов заставят его познакомиться со скандинавскими языками, и он должен считать еще счастливой для себя случайностью, что крупнейший исламовед прошлого поколения, венгр, большинство работ печатал по-немецки, а финские ученые часто пользуются шведским и другими более доступными языками. Но этого мало. Русскому арабисту стыдно не знать работ по своей специальности на славянских языках: он прежде всего должен познакомиться с многовековой чешской традицией и с новой польской наукой, энергично развившей свое востоковедение после первой мировой войны в целом ряде периодических изданий и серий. Ему надо знать, что и на сербском языке существует не только большая литература, посвященная развитию арабской письменности в Боснии и Герцеговине, но за последние десятилетия вышло немало работ, затрагивающих общие вопросы арабистики. Полезен ему иногда будет и болгарский язык; и на украинском арабист найдет и живые очерки современного мусульманского мира, принадлежащие крупному специалисту, и едва ли не лучшие в художественной литературе «Бейрутские рассказы» или «Песни Ливана». Список необходимых языков ширится и ширится; если выдвинуть эту фалангу всю сразу, она может устрашить, но при постепенном движении человеческой жизни ею часто овладеваешь как-то незаметно для самого себя.

Арабисту понятен притворный ужас знаменитого голландского ориенталиста Снук Хюргронье, побывавшего инкогнито в Мекке, когда он в конце 90-х годов писал из Батавии на Яве Розену, не без иронии благодаря его за присылку очередного выпуска «Записок Восточного отделения Русского Археологического общества», которые всегда выходили только на русском языке. Он говорил, что, пожалуй, скоро молодой магистрант-ориенталист, прежде чем погрузиться в свою специальность, должен будет изучить 24 языка, на которых печатаются работы из его области, и среди них будут не только русский или голландский, но даже малайский, яванский... По счастью, на практике это оказывается все же не так страшно; и удельный вес разных языков в области арабистики не

одинаков, и не все они в одинаковой мере нужны для отдельных тем.

Но едва ли найдется хоть один арабист, чем бы он ни занимался ближайшим образом, для которого притягательной силой не звучало бы самое имя «аль-Андалус», как называли арабы Испанию, который не знакомился бы с классическими работами Дози о мусульманах Испании, овеянными романтикой, хотя и устарелыми теперь, но неувядаемо прекрасными по своей художественности, созвучной середине XIX века. Всякий арабист в какой-нибудь период своего научного роста ощущал это «веянье аромата от свежей ветви Андалусии», как называется знаменитая, посвященная арабской Испании, антология XVII века; всякий невольно переносился не только мыслями, но и чувствами за Пиренеи. Недаром Розен, составляя андалусский отдел в поэтической части своей знаменитой не только у нас арабской хрестоматии, не мог удержаться от соблазна «присочинить» несколько стихов к помещенной здесь элегии давнего арабского поэта-рыцаря.

Однако от арабской Испании до испанских арабистов ведет путь не близкий и часто кружный. Не приходится удивляться тому, что для европейской науки испанские арабистические работы часто оставались неведомыми до последнего времени. Моя судьба в этом отношении была счастливее, и я рад, что «андалусская» линия моих научных интересов не прерывается уже почти сорок лет. С испанскими арабистами меня познакомили все те же книги и рукописи; рано к ним прибавились важные рукописи современности — письма, которые постепенно оживились фотографиями, но лично никого из них мне не суждено было увидать. Дорога вела к цели медленно.

Испанская арабистика долгое время жила под несчастной звездой: суровый, хотя и справедливый приговор Дози над некоторыми представителями ее в первой половине XIX века силой его авторитета роковым образом распространился и на все более новые работы на испанском языке. Их перестали читать, но по счастью во второй половине XIX века нашлись здоровые силы. Не боясь труда, упорно, методично, без всякого почти признания у себя на родине, неведомые прочей Европе, работали два поколения одиноких самоотверженных арабистов и уже в начале XX века картина резко изменилась, хотя испанские работы оставались все еще скрытыми от арабистики других стран. Случай заставил меня задуматься над этим. В 1906 году, подготовляя для печати свой первый обзор новой арабистической литературы по некоторым специальным вопросам, я неожиданно натолкнулся в университетской библиотеке на вышедший за два года до того большой юбилейный сборник в честь Франсиско Кодеры. Для нужной мне тогда библиографии там нашлась только одна статья, но меня поразил прекрасно отпечатанный том почти в 700 страниц, самое появление которого сделало бы честь не только скромному провинциальному городу Испании Сарагоссе, но и любому востоковедному центру Европы. Число одних испанских участников, писавших на арабистические темы, говорило о серьезности созданной школы; список работ юбиляра с его портретом впервые дал мне почувствовать всю настойчивость и методичность этого упорного труженика, в котором историк и нумизмат как-то уютно сочетался с агрономом и с создателем маленькой арабской типографии у себя в кабинете, где наборщиками были он сам и обученные им студенты арабисты. Все же впечатление от издания казалось мимолетным и, может быть, не оставило бы следа, если бы его не поддержали воздействия, шедшие с другой стороны.

Розен, через руки которого должен был пройти мой библиографический обзор, острым оком сразу усмотрел статью из сборника в честь Кодеры и, как всегда, встрепенувшись, точно с изумлением спросил: «А откуда вы про него узнали?» Я должен был покаяться, что случайно наткнулся на него в университетской библиотеке. «Ну, вот и отлично, когда-нибудь также случайно изучите и испанский язык! А наш испанист как раз теперь учит у меня арабскую грамматику». Речь шла об известном уже, достаточно солидном тогда романисте Д. К. Петрове, который первым из школы А. Н. Веселовского не побоялся подойти непосредственно к арабскому языку. С этих пор Розен, по свойственной ему живости, часто делился со мной мыслями о ходе работы своего нового ученика; у него впервые я узнал и неизбежную для всякого испанского арабиста хрестоматию Лерчунди и Симонет. Летом 1907 года Д. К. Петров побывал в Тюбингене у профессора Зейбольда, единственного в Германии арабиста, близко знакомого с cosas de España — «испанскими делами»; он был когда-то секретарем Дон Педро Бразильского и вместе с ним переводил «1001 ночь» на португаль-

ский язык. Не очень понравилось Розену, что под его влиянием Д. К. Петров задумал издание «Ожерелья голубки», знаменитого трактата о «любви и влюбленных» испанско-арабского литератора XI века Ибн Хазма; эту работу по единственной лейденской рукописи Розен считал слишком трудной для молодого еще арабиста.

В 1908 году Розен умер, я уехал на Восток, и здесь испанские впечатления нахлынули на меня еще с новой стороны. Тогда впервые я узнал, что в Бразилии и вообще в Южной Америке существует довольно большая арабская колония, что многие тамошние арабы являются поэтами, но часто пишут по-испански и по-португальски. И среди побывавших там ливанцев мне приходилось встречать немало владевших достаточно свободно тем или другим языком. Все меня опять влекло к Андалусии, и возвращение в Россию дало, наконец, этим пока еще неясным стремлениям отчетливую форму. Испанист Д. К. Петров продолжал готовить свое издание этюда-антологии Ибн Хазма, скоро пошли корректуры, и я с интересом принял участие в этой работе. В нашем распоряжении были фотографии уникальной лейденской рукописи и, вглядываясь в ее строки, я постепенно проникал в жизнь и литературные вкусы Андалусии глубже, чем мог это сделать по художественным страницам произведений Дози, подернутым туманным флером романтизма XIX века. Незаметно мне делались доступными и «орудия труда»; непринужденно развилась у нас с Петровым система своеобразного взаимного обучения: он ходил на мои специальные курсы по арабской поэзии, где нередко составлял половину моей аудитории. Для нас, арабистов, это было не в диковинку, и с тем большим жаром мы штудировали и знаменитую антологию IX века «Хамасу» Абу Теммама и трогательные элегии арабской древности. Я старался не пропускать его лекций, имевших отношение к Испании. Вместе с молодыми романистами я проникал в староиспанский язык, разбирая «Crónica general» — «Всемирную хронику» столь известного в истории испанско-арабской культуры Альфонса Ученого, или погружался в разбор испанских и арабских источников по истории завоевания Испании арабами, которым посвящал свой курс Д. К. Петров. И здесь аудитория к концу полугодия состояла из двух человек; вторым был мой младший товарищ, тогда магистрант истории Востока, впоследствии один из организа-

торов польского востоковедения после первой мировой войны, умерший в молодых годах профессором во Львове. Постепенно круг «взаимного обучения» расширялся; на моих занятиях по начальному курсу арабского языка стали появляться усердные слушатели из молодых романистов, учеников Д. К. Петрова; у одного из них, который вел в университете семинарий по португальскому языку, я бывал систематически на занятиях, где впервые передо мною открылся своеобразный талант Эса де Кейрош. Отдельные его произведения переносили меня на арабский Восток, как исторические повести А. Иркулано рисовали эпоху расцвета арабской культуры в Испании. Так, классическая арабская литература связывалась в моих занятиях органически с современной испанской и португальской; обе линии поддерживали одна другую и разъясняли многое, что осталось бы незамеченным при обособленном пути.

Когда в 1919 году возникло сыгравшее большую культурную роль основанное Горьким издательство «Всемирная литература», мы, восточники, почувствовали особенно живо эту неразрывную связь Востока и Запада, и в так называемой «Западной коллегии» Совета издательства мы были заинтересованы не менее, чем в нашей «Восточной», и там сознавали себя не гостями, а участниками. С одинаковой любовью я редактировал перевод связанной с Андалусией философской новеллы Ибн Туфейля, в которой иногда хотели видеть предка повести о Робинзоне Крузо, и принимал участие в серьезной работе над переводом испанского романа из эпохи морисков Энрике Ларрета. Постепенно, несмотря на всю сложность международных отношений того времени, до меня начинали доходить и работы испанских арабистов, открывавших перед моими глазами новый яркий мир, мало знакомый в Европе. Хотя и с большим опозданием, но мне стала известной талантливая и смелая работа 1919 года о мусульманской эсхатологии в «Божественной комедии» Данте, вызвавшая до ста рецензий во всем мире. В этой книге нашлось место и для характеристики «Послания о прощении» моего любимца Абу-ль-Аля. Я откликнулся на нее статьей, в которой пытался показать, что напрасно автор видит только одно из отражений легенды о путешествии Мухаммеда на небо в этой тонкой, изящной иронии над мусульманскими представлениями о загробной жизни.

Какими-то неведомыми путями распространялись за рубежом слухи о моем интересе к испано-арабским сюжетам. В конце 1926 года я получил письмо от неизвестного мне лично редактора международного журнала «Litteris»; журнал издавался в Швеции и был посвящен разбору выдающихся работ на всех европейских языках из области гуманитарных наук. Редактор просил меня дать отзыв о только что вышедшей книжке молодого испанского арабиста, посвященной вопросу об одном из источников новеллы Ибн Туфейля. Он извинялся, что обращается ко мне, но прибавлял, что не знает арабистов в Европе, которые бы следили за работами на испанском языке; Д. К. Петрова уже не было в живых. Книжка мне была известна, благодаря интересовавшему меня тогда сюжету; она производила очень хорошее впечатление, и я сразу почувствовал крупное дарование по этой, едва ли не первой работе начинающего ученого. Я с большим удовольствием написал статью, а в 1929 году получил аналогичную просьбу по поводу новой работы того же арабиста, которую тоже выполнил. В своем отзыве на этот раз я не мог не защитить молодого автора от вызванной его книжкой несправедливой, как мне казалось, нападки президента Арабской академии в Дамаске на испанскую науку вообще. Впоследствии я с удовлетворением узнал, что представители серьезной арабской прессы приняли мою сторону в этой случайной маленькой полемике. В определении научного дарования я не ошибся: очень скоро совсем юный ученый получил по трудному конкурсу одну из наиболее почетных в Испании кафедр арабского языка в Гранаде. Мне писали, что некоторую роль в этом сыграли мои отзывы, и я был очень тронут, когда в 1934 году он посвятил мне свою новую работу. Вкладной лист изящного издания со странной фамилией какого-то северного ученого in Leningrado, вероятно, производил своеобразное впечатление на земляков автора в былой Андалусии.

Очень важным оказался для меня второй результат этих завязавшихся постепенно связей с испанской наукой. С тех пор я стал получать все вновь выходившие в Испании книги по арабистике. Такая щедрость иногда меня смущала; книги издавались обыкновенно очень хорошо, с точки зрения нашей скромной науки даже роскошно; среди них нередко попадались и монументальные труды, как работа в четырех фолиантах об архиве мосарабов

в Толедо. Благодаря неизменному вниманию я получил в 1928 году двухтомный сборник статей главы тогдашней испанской арабистики Хулиана Риберы, изданный его учениками по случаю 50-летия его профессуры. Новый подарок поразил меня не меньше, чем случайно попавший мне в руки два десятка лет тому назад юбилейный сборник его учителя Кодеры. В книге развертывалась перед читателем не только поучительная эволюция научного творчества крупного ученого, но и величественная картина развития всей испанской арабистики за полвека. Я не мог остаться равнодушным к ней: мне делалось как-то больно, что даже специалисты других стран мало о ней знают. Пользуясь сравнительным досугом летом 1928 года, когда я мог провести два месяца в Полтавской губернии на берегу реки Псла, в местности с живописным названием Бутова Гора, я подготовил систематический обзор двухтомного сборника. Серьезность сюжета не удержала меня от маленького озорства при указании в печати места, где писалась моя статья. Оправданием мне может послужить только то, что и Розен позволил себе в подобном случае шутку. Читающие одну из его лучших рецензий иногда останавливаются в недоумении перед названием местности «Кал'ат альджу», где она была написана, зная, что автор никогда не жил на Востоке; даже арабист не сразу догадывается, что это лишь точный арабский перевод Гунгербурга, где Розен проводил лето на даче. Пусть же и мое «Кух и Бут» не заставит думать о Персии или Индии, так как это только «перелицованная» по-персидски Бутова Гора. Создавая с увлечением свою статью, которой я мечтал возместить хотя немного свой долг перед испанской арабистикой, я вспоминал здесь в «гоголевской» обстановке, что и Гоголь ведь когда-то писал о халифе аль-Мамуне и что у него есть вдохновенные страницы об арабской культуре, правда страницы художника, а не ученого. Впоследствии я узнал, что моя статья была переведена в Испании на испанский язык и еще прочнее закрепила связи между арабистами двух стран.

Конечно, не от одних книг протягивалась нить взаимного сочувствия; если рукописи играли в этом общении меньшую роль, то, вероятно, потому, что в наших собраниях сравнительно мало памятников андалусского или магрибинского происхождения. Все же наш знаменитый уникум Ибн Кузмана часто мне приходилось тревожить

для каких-нибудь справок по просьбе заочных испанских друзей. И они недоумевали не менее нас по поводу непонятного назначения медной магрибинской таблички, хранящейся в ленинградском собрании и опубликованной нашей эпиграфисткой. Параллели табличке находились только в Испании, но оставались в такой же мере загадочными. Ряд не исследованных раньше рукописей в Ленинграде стал выплывать благодаря еще новой инициативе испанских арабистов.

В 1933 году они смело положили начало опыту, никогда не осуществлявшемуся в истории нашей науки в большом масштабе,— изданию специального журнала по арабистике. В названии его звучало все то же манящее слово «al-Andalus», но он был посвящен всем арабистическим сюжетам, понимаемым широко, конечно с преимущественным вниманием к Испании и к Северной Африке. Издавался он продуманно и изящно; его гостеприимные страницы были всегда открыты для ученых всех национальностей и статей на основных западноевропейских языках. Зеленые книжки быстро превратились в международный орган, и к нему потянулись арабисты всех стран. У меня постепенно зародилась мысль познакомить западных коллег в последовательном ряде статей с наиболее интересными рукописями наших собраний, которые имеют связь с Андалусией и Магрибом. Я начал все с той же близкой мне коллекции Шейха Тантави в университетской библиотеке, которая и в этой области не была лишена значения.

Начало положила одна поэтическая антология, писанная типичным магрибинским шрифтом в первых годах XVIII века, интересная для литературной истории всего арабского мира; она давно лишилась начала, и поэтому автор ее был неизвестен. Мне она представлялась уником, но моя статья дала толчок к открытию другого экземпляра в Фесе; дальнейших сведений о нем, однако, не появлялось. Со второй статьей, которую я готовил для следующего тома «al-Andalus», произошла уже любопытная случайность, каких было немало в моей жизни арабиста. В той же коллекции Тантави мой ученик, подготовлявший начатый мною каталог рукописей, обнаружил сокращенную редакцию одного очень важного для литературной истории Андалусии сочинения; по моим соображениям она являлась уником для европейских собраний. Автор

ее был мне давно близок: крупный канцелярский чиновник эпохи мамлюкских султанов в Египте, он находил время и для своих литературных занятий. Когда-то я открыл, тоже в университетской библиотеке, другое его сочинение, неизвестное раньше, и с тех пор трогательно зазвучало для меня его имя Ибн Маммати. «Маммати» — моя мамочка — так прозвали его деда бездомные каирские детишки, которых он кормил во время жестокого голода, обрушившегося на Египет. Описание мое было почти готово, как пришла очередная зелененькая книжка «al-Andalus». Велико было мое изумление, когда, открыв ее, я сразу наткнулся на статью моего молодого испанского друга, теперь одного из двух редакторов журнала, с описанием той же сокращенной редакции по каирской рукописи, которую он считал уником. Наш манускрипт потерял свой ореол уникальности, но подготовленная работа сохранила значение и увидела свет в следующем томе «al-Andalus». Было это уже в 1935 году. Продолжая задуманную серию, я готовил еще другие статьи, но в Испании скоро вспыхнула война и ставшие привычными зеленые книжки «al-Andalus» перестали приходить в Ленинград; издание прервалось.

Наши мысли, конечно, по-прежнему стремились в Андалусию: об этом говорила и брошюра «Арабская культура в Испании», и статья об арабском поэте «садовнике» в Андалусии, и большая монография об арабской поэзии в Испании. Все же как-то грустно было их писать и печатать, сознавая, что они остаются неведомыми для тех западноевропейских арабистов, которым они, быть может, наиболее близки и понятны. Еще грустнее стало мне, когда весной 1942 года в осажденном Ленинграде все среди тех же наших рукописей я обнаружил неизвестную биографию автора антологии «Веяние аромата от свежей ветви Андалусии»; я живо представил себе, с какой радостью редакторы «al-Andalus» увидели бы статью об этом на страницах своего журнала... Но зачем горевать? Ведь всякие ночные кошмары исчезают бесследно с рассветом. Будем думать, что наступит когда-нибудь день, и опять испанские и русские арабисты начнут совместную работу на том поле, где для общечеловеческой мировой науки нет никаких межей; настанет день, и опять ласкающие глаз зеленые книжки «al-Andalus» появятся в кабинете ленинградского арабиста.

VI. «НА ЛОВЦА И ЗВЕРЬ БЕЖИТ»

1. Бронзовые таблички из страны царицы Савской

(1930)

Арабист современного поколения с первых шагов самостоятельной работы должен считаться с непреложным законом — дифференциацией науки. Теперь нельзя уже, как бывало раньше, стать специалистом во всех трех областях — лингвистики, литературоведения, истории. Каждая из них настолько развилась, накопила такие большие материалы, что человеческой жизни мало для овладения этим богатством даже по одной из трех линий. Но и помимо этого деления, самостоятельное существование постепенно приобретают все новые и новые специальности, хозяином которых может стать только целиком отдавший им себя ученый.

Уже с конца XIX века, благодаря трудам голландца Снук Хюргронье и венгра Гольдциэра, окончательно оформилось исламоведение, для занятия которым теперь необходима длительная и серьезная подготовка. В истории последовательно начинают жить своей жизнью вспомогательные дисциплины: эпиграфика с палеографией требуют овладения особым комплексом важных для них знаний в такой же мере, как нумизматика. В лингвистике с XX века существенную роль играет диалектология; в истории литературы — изучение новой литературы, которое может поглотить человека всецело, если он не хочет остаться дилетантом, только случайно и поверхностно затрагивающим разнообразные сюжеты.

Среди многочисленных более «узких» специальностей арабистики давно уже обособилась та, которую условно можно назвать «сабеистикой», изучением южноарабского языка, южноарабской культуры. Хронологически она связана скорее с древним, чем с средневековым Востоком, как едва ли не все другие области арабистики; отличие языка и шрифта, близкого более к эфиопскому, чем к собственно арабскому, почти полное отсутствие непосредственного влияния на мусульманско-арабскую культуру как бы передавало ее в ведение историков древнего Востока или абиссиноведов. Материал с конца XIX века, благодаря новым и новым изданиям надписей, рос здесь довольно быстро, но самые обычные пособия отсутствовали: долгое время не было никакой грамматики, хрестоматия появилась только в 30-х годах, а словаря и до сих пор нет. Основным «инструментом работы» служит обыкновенно монументальный «Corpus», свод семитических надписей, издаваемый французской Академией надписей; за последние годы, наконец, прибавился к нему и «Répertoire» — перечень всех изданных южноарабских надписей с указанием важнейшей литературы о них. Постепенно почти в каждой стране появился свой специалист «сабеист», и количество их во всем мире теперь доходит, пожалуй, и до десятка. Как часто бывает в науке, наиболее крупных знатоков выдвигают не всегда наиболее крупные страны: к 30-м годам самые выдающиеся «сабеисты» существовали в Австрии, Дании, Бельгии и Италии.

В наших собраниях южноарабские древности никогда не были представлены сколько-нибудь значительными образцами и никакой традиции в этом направлении у нас не создалось. Наши арабисты всегда были связаны больше с мусульманским Востоком, чем с древним миром или семитологией, так что и с этой стороны никакой инициативы не возникло. Иногда только какие-то смутные намеки, отголоски древних легенд заставляли задумываться о «счастливой Аравии», но, не находя себе поддержки в реальном материале памятников, проходили бесследно, постепенно заслоняясь более близкими картинами арабской культуры эпохи халифата.

Так было и со мной. Образ царицы Савской, приходившей когда-то к Соломону испытывать его мудрость и загадывать загадки, еще в гимназические годы вставал в каком-то ореоле романтизма и таинственности; позже он нашел себе освещение в мусульманской легенде о царице Билькысе, на которую я натолкнулся случайно еще на первом курсе в попавшейся мне в руки арабской хрестоматии. Занятия Абиссинией в те же годы перекидывали мост в южную Аравию, и по своей инициативе, готовясь к магистерскому экзамену, я считал нужным немного познакомиться с литографированной южноарабской хресто-

матией Хоммеля, единственным в те времена пособием. Настоящей пищи все же не было. Распространенный южноарабский амулет нашелся в полной всякими диковинками коллекции Н. П. Лихачева, но он содержал только шесть сабейских знаков, и опубликованное мною издание было задумано скорее для полноты сведений о наших собраниях, чем для серьезного обогащения знаний о южноарабской культуре. Рассматривая по временам фотографии или снимки с памятников в европейских музеях, я никогда не думал, что может настать такой момент, когда мне придется самостоятельно разбирать не бывшие еще ни у кого в руках надписи и определять их значение. Произошло это довольно поздно, в 1930 году, когда я уже, признаться, порядком растерял свои познания периода магистрантской подготовки и даже не подозревал, что они когда-либо понадобятся для такой неожиданной задачи.

В конце 20-х годов у нас впервые завязались непосредственные официальные сношения с Йеменом; центром их было наше торгпредство в Санаа, нынешней столице «счастливой Аравии». Эти связи вызвали не только появление кинофильма «Йемен» и нескольких популярных книжек с описанием путешествий в эту когда-то загадочную и недоступную страну; они имели и некоторые научные результаты, к сожалению, не в том объеме, как хотелось бы арабисту. Попавшие туда лица с востоковедным образованием, воодушевленные благими стремлениями, делали записи материалов по йеменскому диалекту, начиная от отдельных слов и грамматических форм до связных диалогов, фольклорных текстов и даже сказок. Количество записей накопилось довольно значительное, но они производились без предварительной специальной подготовки, без знакомства с арабской диалектологией, без необходимого знания выработанных наукой приемов записи. Почти все эти материалы, при невозможности серьезной проверки на месте, оказались бесполезными для науки. Такую же невеселую картину открывали усиленно приобретавшиеся там «древности». Можно не сомневаться, что было бы полезнее, если бы приезжие ставили целью пополнить наши этнографические коллекции или приобретать попадающиеся арабские рукописи; тогда, вероятно, было бы гораздо меньше разочарований. Наши коллекционеры не подозревали, очевидно, что в Йемене давно уже развился своеобразный промысел подделки «древностей», поставленный очень широко на коммерческую почву. В самой Санаа, а еще более того в соседних городках и местечках, существует ряд оригинальных «кустарных» мастерских, в которых чаще всего ювелиры или каменщики подделывают надписи на суррогатах бронзы, на камне, высекают якобы древние статуэтки и всякие амулеты. Значительного спроса на этот товар в Санаа, конечно, не было, потому что и европейцев там жило ничтожное количество; основной «экспорт» целыми ящиками на верблюдах направлялся караванным путем в Аден, где ловкие агенты уже в розницу доставляли предметы на океанские пароходы, в большом числе заходящие в этот порт. Туристы всех национальностей, возвращаясь с Дальнего Востока или из Индии, а то из кругосветных путешествий, с радостью раскупали эти «тысячелетние памятники счастливой Аравии», составляя иногда из них целые коллекции. Только случайный взгляд какого-нибудь специалиста приносил иногда горькое разочарование владельцам, а производство пока продолжало процветать. Невольными клиентами его оказывались часто и наши соотечественники. С конца 20-х годов десятки таких предметов, иногда целыми ящиками, стали попадать в мои руки; я только жалел своих земляков, которые с немалой затратой энергии и средств транспортировали новые приобретения на родину. Они развили во мне жестокий пессимизм: мне начинало казаться, что едва ли в Йемене случайный заезжий иностранец XX века без специальной подготовки и тщательных поисков найдет что-либо ценное в научном отношении. Однако раз я все же ошибся.

В начале 1930 года ко мне явился один много путешествовавший врач и по просьбе своего знакомого, служившего тогда в нашем торгпредстве в Санаа, принес две бронзовые таблички с южноарабскими письменами; надо было определить их научное значение и в случае подлинности передать в наиболее подходящее из наших собраний. При обычной грубой подделке я бы, вероятно, сразу ее узнал, и решение было бы легко, но здесь с первого же взгляда передо мною встала трудная задача: либо подделка была очень искусной, либо впервые за эти годы нам попались подлинные южноарабские древности. Последнему как-то не верилось, хотя по внешнему виду таблички совершенно не походили на все то, что до сих пор мне приходилось видеть в новых поступлениях из Йемена. Бронза, совершенно позеленев-

шая и покрытая местами патиной, напоминала старокитайскую; приставший песок и глина тоже как будто говорили о долгом пребывании в земле. Форма букв отличалась несравненно большим изяществом и уверенностью очертаний, чем на каком бы то ни было из попадавших мне в руки поддельных образцов. Однако решать вопрос по внешним данным было бы слишком опрометчиво и в первую очередь надо было произвести анализ надписей, выяснить, что и как они говорят. Такой задачи мне никогда еще не приходилось решать; приступать к первому опыту было жутковато, но и отказаться от него было нельзя. Этого не допускало достоинство нашей науки; неудобно было в самом деле, ввиду отсутствия у нас специалистов, послушаться совета некоторых наших представителей и послать надписи на экспертизу в Италию. Такой совет, о котором я узнал еще до того, как надписи оказались у меня в руках, немало меня задел и особенно подзадорил. Я решил не торопиться и не падать духом прежде времени; я ответил, что по первому впечатлению надписи кажутся мне подлинными, но анализ их требует некоторого срока.

Прежде всего надо было выяснить, есть ли параллели к нашим табличкам в западноевропейских собраниях и в какой мере они совпадают по содержанию. Благодаря наличию в нашей библиотеке парижского Corpus'a — свода семитических надписей, это оказалось нетрудно: до сих пор их известно четыре или, точнее говоря, три с половиной, так как у одной сохранилась только верхняя половина; две из них находятся в Лондоне, две — в Вене. Это обстоятельство еще более усиливало мое подозрение. Трудно было предполагать, что такие редкие памятники могли случайно попасть в руки случайному покупателю. Йеменские антиквары хорошо знают цену настоящим древностям и, вероятно, сумели бы найти для них более выгодный сбыт.

Между тем постепенная дешифровка текста не открывала мне ничего, что говорило бы о подделке. Смысл, благодаря параллелям, мне удалось уяснить быстро. Как и ранее известные образцы, это были так называемые «покаянные таблички», которые вывешивались в храмах и как бы доводили до всеобщего сведения о тех прегрешениях, которые совершили подносившие их. Судя по тому, что в большинстве случаев назывались женские имена, вероятно, грешницами являлись гиеродулы — жрицы южно-

арабских храмов; прегрешения их обыкновенно сводились к нарушению каких-нибудь установлений или обетов, чаще всего ритуального характера. Имена кающихся менялись, храм божества чаще всего назывался один; очевидно, большинство надписей происходило из одного места. Затруднения при разборе возникали, главным образом, тогда, когда знакомые теперь параллели были недостаточны. Меня смущало, что появляются какие-то неведомые до сих пор имена божеств и лиц, что попадаются неизвестные слова и выражения. Мне все не верилось, что оказавшиеся у нас таблички несут такое значительное обогащение наших сведений не только с общекультурной точки зрения, но и по более узким вопросам ономастики и лексики. Я думал, что при малой начитанности в памятниках, приобретавшейся только теперь в ходе работы, мне просто остаются неизвестными существующие факты. Я тогда решил прибегнуть к обычному хорошо испытанному средству — международному общению ученых — и стал обращаться за разъяснениями вставших передо мною вопросов по отдельным случаям к двум крупнейшим специалистам — в Австрию и Данию. Первый мне был знаком по письмам, так как в молодые годы, до того как сосредоточиться на сабеистике, он много занимался арабской поэзией; мнение его мне было в особенности важно, как ученого, близко стоявшего к обработке венских коллекций и, конечно, хорошо знавшего находившиеся там покаянные надписи. Датский исследователь незадолго перед тем выпустил под своей редакцией первый том большого Handbuch'a — свода древнеарабской археологии. Переписка быстро завязалась, но разница в темпераменте обоих ученых обнаружилась очень любопытно. Австрийский коллега, между прочим едва ли не единственный крупный ориенталист грек, охотно старался разъяснить мои недоумения, которые иногда, может быть, казались ему даже элементарными, приводя различные параллели, высказывая всякие соображения, поддерживая меня в мыслях о подлинности надписи. Датчанин отнесся более сурово. Он, по-видимому, был не склонен погружаться в детали, доказывая, что сперва надо выяснить, не поддельны ли наши бронзовые таблички и стоят ли они того, чтобы ломать над ними голову. В случае присылки фотографий, он готов был передать их для изучения какому-то из своих учеников, который, по его словам, занимался специально такими вопросами.

Пойти на это — значило бы, с моей точки зрения, сознаться в своем бессилии и, не исчерпав всех средств, отказаться к тому же от приоритета нашей науки. Мне делалось как-то стыдно. Я предпочел «ломать голову», продолжая изредка прибегать за помощью к отзывчивому профессору в Граце.

Хотя и медленно, надписи все же поддавались моим усилиям; даже вторая, местами сильно пострадавшая от патины, постепенно открывала свои, на первый взгляд, совершенно изъеденные знаки. Немало помог в отдельных случаях острый глаз графика и палеографа, моей жены, который облегчил вырисовку оригинала для клише; в наших типографиях сабейского шрифта, конечно, не было. Мы даже рискнули условно восстановить некоторые совершенно исчезнувшие знаки; когда значительно позже, уже после того как статья о надписях была напечатана, опытный ученый реставратор «очистил» таблички и ряд знаков выступил более отчетливо, мы с радостью увидели, что наши предположения были правильны. Мое убеждение о подлинности попавших в наши руки памятников крепло: подделать так безукоризненно мог только большой знаток и крупный ученый, предполагать наличие которого в южной Аравии не было никаких оснований. Оставалась, правда, еще одна возможность: надписи могли оказаться современным воспроизведением древнего оригинала. Однако такого оригинала до сих пор науке не было известно, а значит и копии, если они являются таковыми, сохраняют свое научное значение.

Постепенно, шаг за шагом, я сделал все, что было в моих силах, и решил пустить наши надписи на мировой суд науки, издав их в фотографии с доступным мне исследованием. Все же делал это я с немалым страхом. Я боялся не столько того, что проглядел какие-нибудь ошибки в чтении и толковании отдельных деталей, мне даже хотелось, чтобы кто-нибудь разъяснил оставшиеся у меня сомнения,— я боялся, что вдруг мои надписи окажутся все-таки поддельными и я на всю жизнь приобрету себе печальную известность, вроде тех французских археологов, которые не сумели обнаружить фальсификацию знаменитой одесской «тиары Сайтаферна».

Еще до того, как моя статья вышла в свет, один довод прибавился в мою пользу. В химической лаборатории был произведен анализ бронзы, послужившей материалом для

таблиц. Характер изменений на ней показал, что таблицы пролежали в земле не меньше тысячи лет. На мой взгляд, это обстоятельство в связи со всеми предшествующими соображениями относительно текста решало вопрос окончательно. Какая-то боязнь у меня все же оставалась.

С первыми откликами на публикацию страхи быстро рассеялись. Небольшое количество специалистов помогло тому, что все сабеисты в той или иной форме отозвались на новую находку. Она еще раз показала всю международность науки в нашей области. Крупнейший представитель ее, бельгиец, посвятил нашим надписям особую статью: он привел несколько соображений относительно деталей моей интерпретации, но высказался определенно за подлинность надписей. Поместив их через несколько лет в составляемом по поручению парижской Академии надписей «Репертуаре» южноарабских надписей, он окончательно закрепил авторитетом этого издания их место в науке. Полностью они были эксцерпированы им и для вышедшего позднее «ономастикона» южносемитической древности. Итальянский ученый в многотомной работе об идее покаяния в религиях всего мира глубоко осветил значение этих документов в истории религии. Откликнулся и 80-летний ветеран сабеистики в Германии, который по наследству от своего отца, одного из первых когда-то пионеров этой области, умел сочетать глубокое изучение Малой Азии с интересом к южной Аравии; он тоже не поколебался признать их подлинными. Благодаря своему изданию, я узнал про молодых английских «сабеистов», которые, не подозревая, что я сам только случайный гость в этой области, стали обращаться ко мне с различными вопросами. Датский коллега преодолел свой первоначальный скептицизм и в статье о южноарабской культуре, написанной специально для нашего «Вестника древней истории», упомянул и нашу работу уже без всяких оговорок. Такое своеобразное «иджма аль-умма» — «всенародное признание» в «республике» мировой науки вполне успокоило меня и вознаградило за все волнения, испытанные при разборе надписей. Имело оно и другое последствие, тоже «интернационального» характера. Когда на международном конгрессе ориенталистов в 1931 году в Лейдене была избрана особая комиссия по разработке и изданию южноарабских древностей, то в состав ее был включен и представитель нашей страны. Так, попавшие к нам случайно, благодаря

современным связям с Йеменом, надписи из царства легендарной Билькысы, может быть, послужат когда-нибудь скромным началом научной традиции «сабеистики» и у нас.

2. Письмо из Согдианы

(1934)

Счастлив ученый, который мог на своем веку наблюдать зарождение и развитие новой дисциплины, на глазах которого совершались неожиданные открытия и шла разработка найденных материалов, постепенно создававшая величественную картину, неведомую предшествующим поколениям исследователей. Так было в моей жизни с согдийским языком, согдийской культурой, ряд веков процветавшей в Средней Азии; она далеко раскинула свои ветви даже за пределы ее и, сломленная натиском арабов, не погибла бесследно, а органически перешла в новую стадию, которая продолжала единую, непрерывную линию развития среднеазиатской культуры.

Смотря, как зритель, со стороны на неустанные усилия, на хорошо знакомую ученым радость от своих открытий, с которыми мои старшие товарищи упорно, шаг за шагом дешифрировали еще недавно загадочные строки вновь и вновь открывавшихся согдийских манускриптов, я никогда не думал, что и мне, арабисту, далекому от истории Средней Азии, суждено будет принять участие в этой работе, что в мои руки попадет единственный в своем роде, бесценный для науки арабский памятник, ярко отразивший трагический момент последней борьбы согдийцев с арабами. Но так пожелала судьба, и в Ленинграде на одном столе рядом легли согдийские и арабские рукописи, арабист и иранист рядом лихорадочно вглядывались в полустертые письмена, и трудно сказать, перед кем раньше блеснул первый луч, озаривший верный путь, луч, который одновременно, как электрический ток, заставил вздрогнуть обоих.

В 1932 году иранисты Ленинграда пришли в сильное волнение: пронесся слух, что в Таджикистане найдены какие-то согдийские рукописи. А ведь до сих пор их никогда не открывали в самой Согдиане, а только в ее колониях в Восточном Туркестане. Между тем, слухи крепли, стали говорить о следах какого-то архива, обнаруженного,

якобы, на горе Муг на южном берегу Зеравшана. Наконец, осенью 1933 года была снаряжена небольшая специальная экспедиция, которая и произвела там систематические раскопки. Все подтвердилось; богатство обнаруженных согдийских материалов затмило все предшествующие находки, но еще удивительнее, что кроме них нашлись одиночные арабские документы, как бы полностью отражая сложную политическую картину Средней Азии в эту эпоху.

Вести об арабских рукописях стали долетать до Ленинграда раньше, чем вернулась экспедиция. Характер их был таков, что мой скептицизм мало допускал возможность ценной находки. Говорилось, что они на коже, а ведь арабских документов на коже во всем мире до сих пор известно только шесть; трудно было допустить, что именно в Таджикистане, а не в арабских странах, произойдет неожиданное увеличение этого числа. Мне думалось, что это скорее листок из какого-нибудь пергаменного Корана; он, конечно, может быть интересен, но особой редкости не представляет. Такую мысль поддерживало и письмо начальника экспедиции, моего старшего товарища по студенческим годам на факультете, А. А. Фреймана, который, между прочим, сообщал, что при раскопках экспедиция нашла крошечный кусочек кожи, где ясно стояло арабское «ля илях...» (нет божества...), очевидно, обрывок обычного мусульманского исповедания веры. Правда, доходили слухи, что смотревшие документ в Средней Азии видели там имя Тархун, а так звали одного крупного согдийского правителя эпохи арабского завоевания, но я склонен был относить это к некоторому увлечению, простительному для желающих связать находку с местной историей.

Все же мое любопытство было сильно задето, и я старался получить фотографию с рукописи, но это почему-то не удавалось сделать в Средней Азии. Возникли какие-то своеобразные «межведомственные» трения по поводу того, кто должен считаться владельцем всех этих рукописей, где следует их хранить, кому поручить обработку. По счастью, в конце концов, рукописи приехали в Ленинград, и хотя здесь тоже некоторое время колебались, в каком помещении их можно изучать, все-таки в январе 1934 года я узнал, что они находятся временно в рукописном отделении Библиотеки Академии наук. Я был болен, в жару, но, конечно, не мог дольше вытерпеть и на другой же день направился к зданию Академии годами знакомой дорогой по Универси-

тетской набережной. Я шел не один, со мной была жена; за последние десять лет она настолько погрузилась в тайны арабской палеографии и эпиграфики, что давно уже читала куфический шрифт лучше меня, и мы с улыбкой вспоминали, как четверть века тому назад, показывая нам каирские мечети, даже местные ученые арабы на вопрос о какой-нибудь надписи, с изумлением отвечали: «Но ведь это по-куфически; это нельзя прочесть!» Теперь ее графические дарования нередко помогали мне разбирать отдельные начертания рукописи, остававшиеся для меня неясными, несмотря на все знание арабского языка, претендовать на которое годы, казалось бы, давали мне право.

В нижнем этаже библиотеки, в рукописном отделе мы застали уже за большим столом «пана» А. А. Фреймана, как привыкли его звать со времен студенчества. Он был погружен в согдийские не то письма, не то «палки», вывезенные экспедицией, и имел достаточно «отсутствующий», хотя как всегда солидный вид, с круглыми очками, поминутно перемещавшимися на лоб. Он уже приготовил для нас конверт и вытащил оттуда документ, присматриваясь, какое впечатление на нас он производит. С первого взгляда я почувствовал себя совершенно уничтоженным: от жара или волнения вся кровь бросилась мне в голову, в глазах рябило; я беспомощно держал в руках насквозь изъеденный червями кусок сморщенной кожи, на котором точно через красную пелену видел только отдельные арабские буквы и не мог различить ни одного связного арабского слова. Сердце забилось, как будто стремясь выскочить из груди, и первой ужасной мыслью было: «Я ничего не разберу!» Однако моментально стало стыдно, и большим усилием воли я заставил себя взглянуть вторично, но убедился, что пристально всматриваться не могу: глаза сейчас же начинал застилать красный туман. Напрягая всю волю, с какими-то нервными толчками в ритм пульсирующей крови, я стал всматриваться то в одно, то в другое место документа, будучи не в силах задержать взор на чем-нибудь длительно. Мысли лихорадочно вспыхивали при каждом толчке, и я бессознательно шептал их вслух: «Да, в первой строчке остатки обычной начальной формулы «басмаля» — во имя Аллаха... Значит, это начало чего-то, а не вырванный из середины листок... Вот в центре, в самом деле, имя Тархун... Конечно, это не Коран... Но что же такое? — мучительно, беспомощно бьется мысль,

а кровь все сильнее пульсирует в ушах.— Письмо? Вот, вот в конце второй строчки точно стоит «от клиента его»... но имя, имя? «Дива», «Дива» — ясно стоит «Дива» с долгим *и* и долгим *а*! Что за чепуха, какое это имя! А следующая строчка начинается еще хуже — ведь ясно читается «ситти», но это не может быть в литературном языке: «ситти» употребляется только в разговорном и значит «госпожа моя», причем все это здесь? Конец одной строки «Дива», начало следующей «ситти»...» И вдруг опять толчок пульса: «А может здесь перенос одного слова? Ведь бывает же это в арабских папирусах из Египта: Диваситти... Дивасти... Нет такого имени!.. Вот Тархун упоминается же в литературе о Средней Азии, а никакого Дивасти там нет... Что за дьявольщина, ведь ясно стоит Дивасти...» — «Александр Арнольдович,—обращается недоуменно моя спутница к А. А. Фрейману,— у вас в согдийских документах нет какого-то Дивасти?» Фрейман вздрагивает, очки перемещаются на лоб, с растерянным изумлением он, наконец, говорит: «Не-ет... но всюду поминается что-то вроде Диванестич, верно что-то связанное с Диван — канцелярия, может быть какой-нибудь титул...» — «Да нет здесь в арабском буквы *н*,— уже кричу я,— просто Дивасти, Дивасти!..» Вдруг меня пронизывает новая мысль, я срываюсь со своего стула и убегаю, к полному недоумению сидящих за столом и молодого ираниста, который зашел за чем-то к Фрейману и остолбенел от моего невменяемого вида и странного диалога. Я мчусь для быстроты по боковой лестнице в восьмой этаж, где помещается Институт востоковедения и арабский кабинет; там на полке стоят двенадцать томов нашего главного историка ат-Табари, и у меня мелькнула надежда, вдруг у него я найду разгадку всплывшего имени. Хорошо, что ни на лестнице, ни в кабинете я никого не встретил: я чувствовал, что вид мой может напугать, а я не в состоянии был членораздельно объяснить, что со мной происходит.

Задыхаясь от бега, я кинулся к хорошо знакомой полке, и, выхватив указатель к ат-Табари, лихорадочно стал его перелистывать в поисках похожего имени. В глазах у меня двоилось, но все же я пробежал все начертания на *д* почти до конца буквы. «Нет Дивасти» — упало у меня уныло сердце. И вдруг несколькими строчками ниже мелькнуло передо мною «Дивашни». «Да ведь, разница только в точках!— чуть не крикнул я,— это одно и то же!» Не

веря себе, я стал перелистывать по самой истории страницы, на которые ссылался указатель; сомнений быть не могло — там речь шла о Средней Азии и описывались события начала сотых годов хиджры. Вчитываться сразу я был не в состоянии, никаких колебаний больше не оставалось, внутри у меня все точно засверкало, и я также стремительно помчался вниз; если бы я был лет на двадцать моложе, я бы наверное для быстроты съехал на перилах. Ворвавшись вихрем в рукописное отделение, я упал на стул и еле мог прошептать Фрейману, все еще не понимавшему причины моего внезапного бегства: «Дивасти нашелся!» Это было до того неожиданно, что три пары недоумевающих глаз с каким-то испугом устремились на меня. Когда я, несколько отдышавшись, прерывистыми фразами объяснил в чем дело, торжество стало всеобщим: все сразу почувствовали, что находка осветилась и руководящая нить попала в руки.

У меня после всех волнений сразу наступила реакция, и я почувствовал полный упадок сил: я не мог больше в то утро заниматься документом. Но я оставался спокоен: предстояла еще очень длительная и сложная работа, однако я твердо знал, что нахожусь на верном пути и со следующего дня начал уже совсем в другом настроении планомерную теперь дешифровку письма параллельно с детальным изучением соответствующих страниц нашего ат-Табари. Только теперь я мог вглядываться спокойно в не пугавшие больше очертания; только теперь я мог оценить всю стройную красоту письма опытного канцелярского каллиграфа. Каждый день приносил теперь и радости и огорчения, маленькие открытия перемежались с разочарованиями, но все это не было уже страшно: смятый, слежавшийся в земле за двенадцать веков кусочек кожи не мог скрыть своих тайн от острого анализа палеографа, не мог отмолчаться при очной ставке с историком, показания которого сохранил бесценный свод ат-Табари.

Действительно, имя Дивасти послужило ключом ко всему: оно не только разъяснило арабское письмо, но подвело твердую базу для разработки согдийских документов. Дивасти оказался согдийским властителем, остатки архива которого и попались экспедиции на гору Муг. Разгаданное уже с гораздо меньшим трудом имя того арабского правителя, которому он адресовал свое письмо, неожиданно принесло совершенно точную дату документа сотым

годом хиджры, около 718—719 года н. э. Буква за буквой были отвоеваны все фактические данные у письма. Быстро нашел себе место в документе и тот «выеденный» кусочек с началом формулы исповедания веры, который был найден экспедицией отдельно от письма. Даже строчки, уничтоженные ненасытными червями, удалось в основном реконструировать. Рассматривая теперь фотографию разглаженного письма на коже, я сам недоумеваю иногда — как нам удалось не только разобрать строчки, от которых часто уцелела одна-две буквы, но и уловить какой-то смысл в том, что было съедено. Я чувствую гордость за нашу науку, точные методы которой позволяют находить иногда то, что на первый взгляд кажется безвозвратно погибшим.

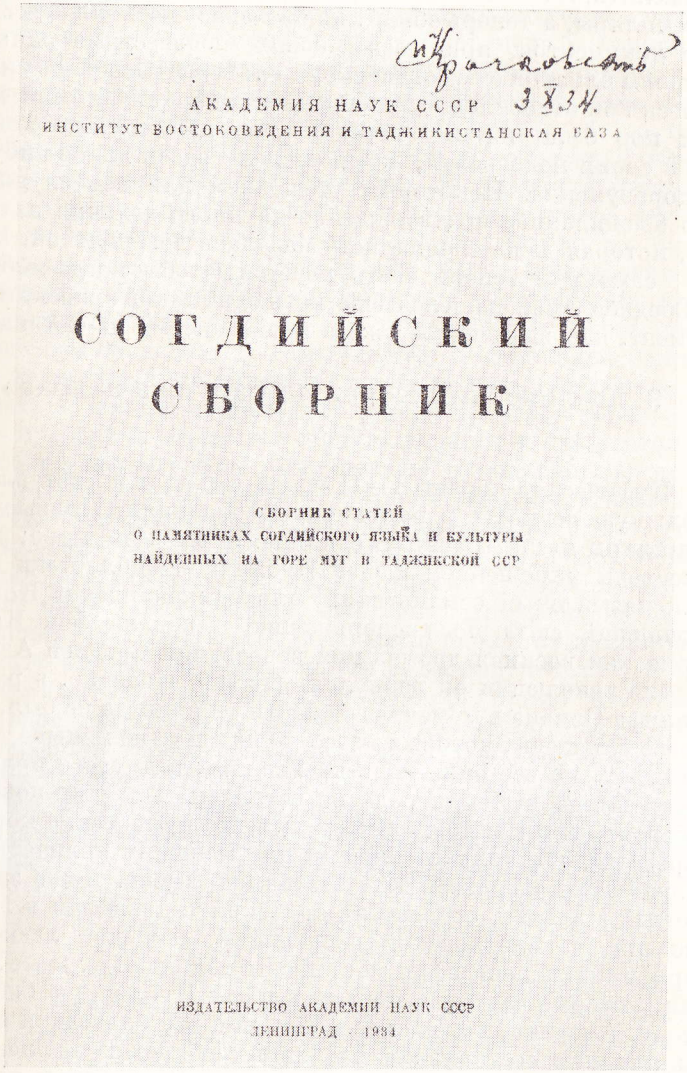
Мне думается, что такое же чувство испытали все, даже специалисты совсем других областей, собравшиеся через две недели в феврале на заседание сессии Академии наук, посвященное отчету экспедиции на гору Муг. Читальный зал Института востоковедения, где обыкновенно в разных углах виднелись одинокие читатели, теперь был переполнен. Заняты были не только все места, но почти и все проходы. Непременный секретарь Академии, пришедший в середине заседания, открыв дверь, невольно попятился: настолько необычной показалась картина для взора того, кто был знаком с видом очередных заседаний группы востоковедения. И действительно, это было торжество — торжество экспедиции, обогатившей науку навиданными материалами, и торжество самой науки, показательно говорившей о своей мощи, которая на глазах всех как бы поднимала наши знания на высшую ступень.

Конечно, работа над документами не кончилась этим заседанием, как и не кончилась изданием в том же году «Согдийского сборника», где были освещены основные научные результаты, между прочим и систематического исследования арабского письма, о котором я теперь вспоминаю. Со временем выяснилось, что имя главного героя надо читать Дивашти, а не Дивасти, удалось установить название того замка, куда он увел своих согдийцев после окончательного разрыва с арабами, удалось даже определить породу козы, на коже которой было написано послание. Вероятно много еще деталей выплывет при дальнейшем исследовании документа; я надеюсь, что кому-нибудь удастся прочесть лучше или полнее отдельные буквы и

слова, которые для нас остались загадочными, однако все это уже частности. Верный путь открылся с того момента, когда впервые блеснуло такое странное и загадочное имя Дивасти; этот миг какого-то подсознательного толчка мысли, какого-то «открытия» и был началом аналитического научного процесса. Благодаря ему теперь это имя звучит чем-то близким и понятным для всех иранистов, для всех историков Средней Азии. Арабист с радостью чувствует, что попавшее в его руки письмо из Согдианы оказалось не только выдающимся, исключительным памятником арабской палеографии, но и первостепенным историческим источником.

Изучение согдийской культуры после находки на горе Муг вступило в новый период своего развития, но суровая судьба не позволила уже принять участие в нем двум лицам, которые, казалось бы, больше других ученых имели на это право. Один из них, С. Ф. Ольденбург, сам бывавший в Средней Азии и в Восточном Туркестане, сам обогативший науку находкой согдийских рукописей, умирал от неизлечимой болезни. Буквально на смертном одре он слушал наши рассказы о первых успехах дешифровки, радовался не меньше нас и строил планы дальнейшей работы, дальнейших экспедиций, в которых — он хорошо это знал — не было места для него. Но он всю жизнь трудился для науки и организации науки; непрерывное развитие и вечность науки были для него аксиомой, и потому так спокойно и просто он мог говорить о будущем накануне своего ухода из жизни. Ему, более чем кому-либо, мы были обязаны посвятить «Согдийский сборник», который он уже не увидел.

Только на три месяца пережил его Ф. А. Розенберг — долголетний хранитель Азиатского музея, верный сотрудник С. Ф. Ольденбурга в руководстве этим учреждением, когда-то единственным востоковедным «институтом» Академии. В последние десятилетия он особенно успешно занимался согдийскими материалами, настойчиво и систематически дешифрируя те немногие фрагменты и рукописи, которые хранились в наших собраниях. Со своей солидной иранистической базой, он быстро стал одним из первых в мире знатоков согдийской письменности. Однако его мозг, истомленный тяжелой болезнью последних лет, как-то недоверчиво прислушивался к рассказам об исключительной находке: ему было, вероятно, трудно



Согдийский сборник. Обложка. Ленинград, 1934

осмыслить, что он всю жизнь разбирал отрывки и единичные экземпляры, а теперь обнаружилось сразу несколько десятков документов, ярко освещающих неизвестные раньше стороны близкой ему согдийской культуры. Особенно скептически он относился к рукописям «на палках», которые до сих пор были никому неведомы, и, кажется, до конца дней своих подозревал, не кроется ли здесь какое-нибудь недоразумение. Некоторым утешением для нас служило это неожиданное подтверждение научного величия находки, которая даже специалисту казалась невероятной. Мне же самому и теперь часто хочется, чтобы когда-нибудь в Средней Азии нашелся еще хоть один такой арабский документ, как знаменитое уже в науке письмо из Согдианы.

3. Куфический Коран «и бабушка-арабка»

(1936)

Куфические кораны I—II веков хиджры представляют большую редкость в рукописных собраниях. Полные экземпляры насчитываются единицами во всем мире; долгие годы украшением нашей Публичной библиотеки был так называемый османовский или самаркандский Коран, попавший сюда по распоряжению генерала фон Кауфмана как военная добыча при завоевании Средней Азии. После революции он вернулся обратно. Конечно, в руках халифа Османа в момент его смерти он никогда не был, как и его близнецы, которых известно на свете не меньше трех-четырех, но все они — I века хиджры, и другого полного экземпляра в Ленинграде не осталось. Так обыкновенно обстоит дело и в других местах: везде куфические кораны представлены только бóльшим или меньшим количеством, чаще всего разрозненных, листов пергамена. Даже знаменитый Марсель, основатель арабской типографии в Египте при наполеоновской экспедиции, большой любитель графики и палеографии, мог вывезти только отдельные листки, которые частично попали в нашу Публичную библиотеку. Америка, которая за последний век благодаря своим миллионам составила в различных областях коллекции, иногда затмевающие собрания Старого Света, здесь до сих пор оказалась не счастливее и старательно описывает и исследует попавшие за океан отдельные листы. А выплывают они не часто.

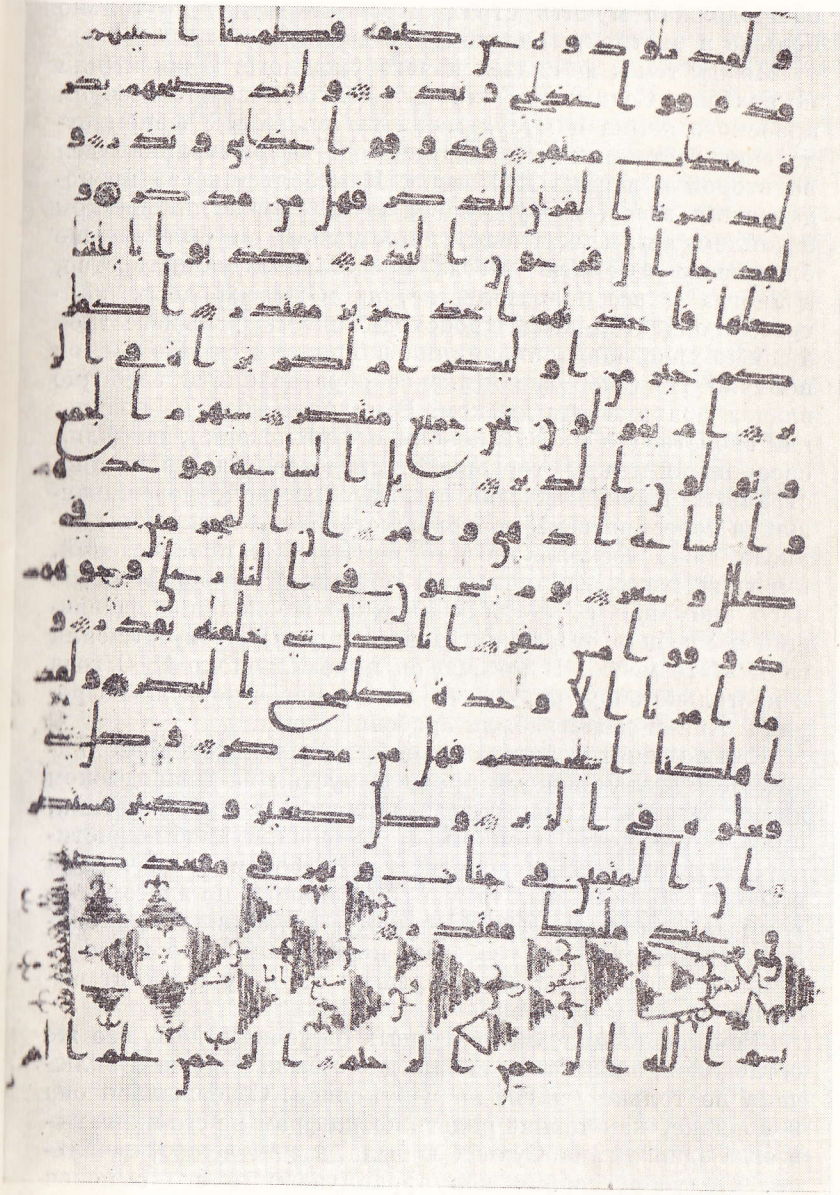
Понятно, как у меня вздрогнуло сердце, когда однажды осенью 1936 года в моих руках оказалось несколько десятков больших великолепных листов пергамена с типичным старинным куфическим шрифтом, которые принесла в Институт востоковедения продавать какая-то дама. Она говорила, что была уже в Публичной библиотеке, но там, узнав, что это — Коран, не захотели приобрести, так как Коран редкости не представляет. Я только улыбался, слушая это: мне было ясно, что у нас нигде теперь нет такого образца даже в одном-двух листах, а здесь их было несколько десятков. Сохранность была великолепная. Оригинальностью отличался формат с большей высотой, чем шириной рукописи, в противоположность обычным известным образцам. А самый шрифт с типичным наклоном верхушек букв направо говорил о немалой древности. Позже, не полагаясь на самого себя, я проделал перекрестную проверку: обратился к двум лучшим у нас знатокам арабской палеографии — хранителю рукописного отделения института и профессору истории мусульманского искусства в университете с просьбой высказаться о дате, утаив, конечно, что обращаюсь к обоим одновременно. Ответ совпал: оба считали, что Коран относится к началу IX, а может быть даже к концу VIII века. Для меня не было сомнений, что спасти этот редчайший памятник надо и выпускать его из государственного собрания нельзя.

Первый вопрос, который возникает, когда рукопись начинает новую жизнь в научной коллекции,— о ее происхождении, своего рода формуляре. Никаких пометок и следов прежних владельцев на листах не было видно, но она не могла принадлежать какому-нибудь случайному обладателю и сохраниться в таком бережном виде. Конечно, листы были теперь перепутаны и, вероятно, вырваны из переплета, однако для приобретения и хранения их в старину надо было обладать, если не знаниями, то вкусом, или быть арабом и ценить в них памятник своего прошлого. Между тем, попытки расспросить даму про историю рукописи натолкнулись на какое-то стремление точно запутать следы. Это мне было, впрочем, привычно. Часто предлагавшие рукописи или книги боялись, что их могут конфисковать, боялись открыть свое родство с бывшими владельцами больших библиотек или компрометировать себя связью с известными когда-то фамилиями. И на этот раз дама назвала себя какой-то обычной русской фамилией, но сказала,

что у них была давно умершая бабушка-арабка, которой она не помнит, что от нее осталась корзинка со всяким хламом, который теперь из-за отъезда приходится ликвидировать; там же вместе с этими листами нашлось несколько арабских и французских книг. Я хотел было ухватиться за это и спросил, нельзя ли прислать нашего сотрудника для просмотра, не окажется ли еще чего-нибудь интересного для нас, но дама торопливо и с какой-то боязнью заговорила, что у них в квартире большой беспорядок, что они сами теперь все разбирают и все сделают. По счастью, она на мой вопрос добавила, что, кажется, в корзине есть еще такие же листы, и обещала их принести, так как я сказал, что это повысит цену. Пришлось подчиниться, тем более, что своего адреса она мне и не назвала. Доставленные листы остались у нас, и это меня утешало. Рассказу про бабушку-арабку мне плохо верилось; конечно, во времена Омейядов в Кордове в одном восточном предместье могло быть сто семьдесят женщин, славившихся своими каллиграфическими копиями Корана, но чтобы в XIX веке арабка, да еще бывшая замужем за русским, оказалась обладательницей такого редчайшего экземпляра,— это представлялось мне сомнительным.

Однако недели через полторы дама снова явилась и, к моей радости, принесла опять несколько листов Корана, так что у нас собралось около четверти полного экземпляра, чего нигде больше в Ленинграде нет. Других листов, по ее словам, не оставалось. Принесла она и две-три книги: французские оказались обычной беллетристикой, правда в хороших переплетах, арабские — обычными восточными изданиями по мусульманскому праву, но которые, конечно, никогда никакую «бабушку», хотя бы и арабку, интересовать не могли.

Опять я задумался о прежнем владельце куфического Корана и вдруг, машинально вертя одну принесенную книгу, на корешке переплета увидел хорошо мне знакомые французские буквы «I. N.» Не показав вида и продолжая разговор, я сказал даме: «Значит и Коран, вероятно, из библиотеки Иринея Георгиевича Нофаля?»— «Откуда вы узнали?»,— побледнев, с каким-то испугом прошептала она. Я, не скрывая, объяснил, в чем дело и как я догадался, но на большую откровенность не вызвал. Она едва дождалась уплаты обещанной суммы и торопливо ушла, точно опасаясь погони. Уехала ли она фактически, или



Куфический Коран. Рукопись Института народов Азии АН СССР, Е 20, л. 71а, Сура 54, стихи 37—55 и начало Суры 55

ее продолжал мучить страх моего открытия, но только больше в институте она не показывалась.

Между тем я не сказал ничего ужасного. Ириней (или по-арабски Селим) Нофаль был долго лет профессором арабского языка и мусульманского права в Учебном отделении восточных языков Министерства иностранных дел во второй половине XIX века. Как большинство преподававших здесь, он чувствовал себя скорее чиновником и дипломатом, чем ученым, дипломатом он был внешне блестящим и почти всегда представлял министерство, а иногда и все правительство, на международных конгрессах ориенталистов. Происходивший из очень известной арабско-христианской фамилии в Триполи сирийском, он получил типичное левантинское образование и свободно владел французским языком. В молодые годы на родине, как свойственно многим арабам его положения, он делил свое время между торговлей, представительством иностранных держав и занятием литературой, переживавшей в середине века период некоторого возрождения, написал даже несколько беллетристических произведений, имевших известный успех. В министерстве обратили на него внимание и, когда безнадежно заболел преподававший в Учебном отделении Шейх Тантави, его пригласили занять это место. В Россию он приехал около 1860 года и настолько обрусел, что его дети никогда не были на родине отца и даже забыли арабский язык.

Сам он занятия литературой бросил, но несколько книжек по мусульманскому праву выпустил на французском языке. Это была скорее не литература, а публицистика, причем с особым оттенком. Как нередко арабы-христиане, Нофаль был страшным исламофобом и зачастую в своих работах давал такую волю иронии по адресу Мухаммеда и ислама, что турецкому посланнику приходилось протестовать и требовать конфискации его книжек. В министерстве он сделал большую карьеру и достиг высоких чинов и орденов.

Реминисценции литературных вкусов у него все же оставались; библиотека его когда-то была хороша и включала не только книги, но и рукописи. Содержалась она в порядке, как можно видеть по шифрам на его книгах— всегда одного типа. Судьба ее была, к сожалению, печальна. Полуобрусевшие, полуофранцуженные его сыновья получили свое образование в привилегированных учеб-

ных заведениях и принадлежали к известной тогда «золотой молодежи». Ни наукой, ни литературой они не интересовались, карьеры тоже не сделали, и, существуя на средства отца, постепенно докатились до того, что, пользуясь его старостью, тайком стали распродавать отдельные книги букинистам. После его смерти вся библиотека пошла окончательно прахом, и только изредка неожиданно выплывавшие на Литейном или в Александровском рынке книги, иногда необычного содержания на арабском или французском языке, в аккуратных переплетах с буквами «I. N.» на корешке и с однообразными шифрами на форзаце, говорили о прежнем их владельце, в свое время библиофиле, бережно хранившем редкий куфический Коран. Вероятно, и он не уцелел полностью тоже по вине сыновей.

Не хотела ли внучка напоминать, может быть, известные ей деяния родителей, боялась ли она открыть свое родство с крупным чиновником Министерства иностранных дел в царское время и поэтому превратила «дедушку-араба», в «бабушку-арабку», сказать трудно. Хорошо во всяком случае то, что благодаря ей наши собрания обогатились редким куфическим Кораном.

А буквы «I. N.» еще раз при других обстоятельствах заставили забиться мое сердце, когда я увидел их на корешке чернового автографа арабского описания путешествия в Россию Шейха Тантави, предшественника Нофаля по преподаванию в Учебном отделении восточных языков. Через много лет я случайно узнал, что догадка моя была все же правильна, и куфический Коран мы приобрели, действительно, у внучки И. Г. Нофаля.

4. Пристав при Шамиле в Калуге

(1928—1941)

История нашей арабистики плохо знакома специалистам и совсем неизвестна в широких кругах или за границей, а между тем, в ней есть немало интересных моментов и черт, которые придают иногда ей большое своеобразие и оригинальность, не повторяющиеся на Западе. Надо иметь, однако, в виду, что наша научная арабистика моложе западной на два века и многие аспекты ее открываются в самое последнее время часто совершенно случайно.

До сих пор мы очень плохо знаем арабистов из военной среды, а такие несомненно были и нельзя их всех зачислять без разбора в группу переводчиков-практиков. Конечно, у нашей родины всегда чувствовалось мало непосредственной связи с арабскими странами; она не выдвинула писателей и политиков такого типа, как Лоуренс или Фильби, но связь с народами, впитавшими арабскую культуру, была сильной; часто они оказывались нашими соседями, иногда входили в состав нашего государства. Средняя Азия помогла стать крупным ориенталистом «капитану Туманскому», за которым так и сохранился в различных кругах у нас и на Востоке этот чин, хотя он умер генералом. Интерес к учению бабидов постепенно выработал из него серьезного арабиста, который мог издать основную «священнейшую книгу» преемников Баба, составленную на арабском языке. Имя его навсегда закреплено в науке знаменитым «анонимом Туманского»,— открытой им персидской рукописью, которая ярко отразила расцвет арабской географической науки IX — X веков.

История нашей арабистики до сих пор не осветила полностью той картины, фоном которой являлся арабский язык на Северном Кавказе. Здесь в течение нескольких веков он был единственным литературным языком не только науки, но и деловых сношений. На нем развилась здесь своеобразная традиция, выдвинувшая местных канонистов, историков и поэтов; возникла целая живая литература на мертвом языке, который, однако, звучал как живое средство междуплеменного общения. Об этой оригинальной и по-своему величественной картине арабисты XIX века нигде серьезно не говорили; вероятно, и для меня она осталась бы скрытой, если бы рукописи не заставили задуматься над нею.

В конце 20-х годов я приобрел случайно у неизвестного лица рукописный перевод Корана с примечаниями, принадлежавший, как говорилось на синей папке, «г.-л. Д. Н. Богуславскому». Фамилия эта ничего мне тогда не сказала. Я даже не сразу догадался, что в буквах «*г.-л.*» кроется чин генерал-лейтенанта, настолько трудно было представить, что эта сложная и серьезная работа принадлежит военному по профессии. Вся рукопись производила впечатление белового автографа переводчика. Написана она была на листах хорошей бумаги большого формата; предисловие было датировано 1871 годом и упо-

минало о пребывании автора в Стамбуле. Беглый просмотр и различные случайные справки в связи с моими занятиями Кораном быстро убедили меня, что перевод сделан с подлинника и обличает основательного арабиста. Кто он, об этом я не задумывался, занятый в то время другими работами. Вторая случайность неожиданно мне это открыла и сразу вовлекла в круг новых научных интересов.

В начале XX века на Петрозаводской улице Петроградской стороны, неподалеку от Геслеровского проспекта, стоял довольно мрачного вида не очень большой трехэтажный каменный дом. Ничем особенным снаружи он не выделялся и не имел, если можно так выразиться, никакой архитектуры. Соседи знали, что в доме живет только сам владелец с семьей. Никто из них, да и мало кто в Петербурге, подозревал, что, кроме нескольких жилых комнат, весь дом заполнен редчайшими коллекциями и представляет большой своеобразный музей. Люди сведущие говорили, что владелец, кроме своего собственного, изрядно расстроенного теперь состояния, потратил на него еще два громадных доставшихся ему наследства. Трудно было бы определить одним словом характер этого музея, ярко отражавшего вкусы, широкие интересы, но в то же время и большую систематичность собирателя. Русский историк по своей официальной профессии, он был одновременно большим знатоком византийской культуры и совершенно исключительным специалистом по вспомогательным историческим дисциплинам. Этот широкий размах, тонкие знания, большую опытность собирателя, насквозь видевшего всех антикваров мира, хорошо отражала коллекция. И недаром позже, когда музей перешел в Академию наук, с таким трудом подыскивали для него отчетливое название: сперва «Музей палеографии», потом «Институт книги, документа и письма», в конце концов он распылился между различными академическими и неакадемическими собраниями. Настоящее единство ему придавала только личность самого основателя, неповторимая во всем своеобразии и широте.

И восточник, и западник, к какой бы специальности, кажется, он ни принадлежал, находил себе материал в оригинальном музее без вывески на Петрозаводской улице. Каких только уников здесь не было! Вавилонские архаические таблички и папские буллы, арабские надгробия

первых веков ислама и византийские грамоты, акты итальянской Кремоны и арабские папирусы из Египта... Не только у арабиста глаза разбегались, а гостеприимный хозяин умел завлекать своими сокровищами иногда самого неожиданного характера.

В начале первой мировой войны я очень заинтересовался разбором оказавшейся здесь части архива известного итальянского путешественника начала XVII века Пьетро делля Валле: в нем нашлись арабские письма родственников его жены, уроженки Месопотамии, любопытнейшие памятники арабской эпистолярной литературы того времени, важные и для истории арабской диалектологии и для биографии одного из гуманистов, пионеров итальянского востоковедения. Для обработки их потребовались некоторые справки в итальянских архивах; получение их затруднялось периодическим перерывом сношений с Италией, и до сих пор эти материалы остаются неопубликованными. По счастью, в других случаях таких затруднений не возникало. Увидел свет и южноарабский амулет из этой коллекции, и медная магрибинская табличка, вышло капитальное издание арабских надгробий, поставлено на прочную почву изучение арабских папирусов.

Но много еще неведомых сокровищ и для арабиста содержат коллекции, когда-то объединенные со всего света в доме на Петрозаводской улице.

Как-то раз, уже в 1932 году, просматривая инвентарь Института книги, документа и письма, я обратил внимание на упомянутый там автограф Шамиля. Это оказалось письмо действительно за подписью самого Шамиля, может быть даже целиком написанное им, конечно на арабском языке, в последние годы пребывания его в России незадолго перед поездкой в Аравию. Адресатом был назван «генерал князь Богуславский» и мне сразу вспомнился переводчик Корана. Несомненно, это было одно и то же лицо: титул «князя» кавказские жители считали принадлежностью всех крупных военных и гражданских чинов. Я чувствовал, что от судьбы не уйдешь и надо заняться выяснением личности, с которой уже второй раз меня сталкивают рукописи.

Это оказалось нетрудно; раз ариаднина нить попалась в руки, дальше все пошло как-то само собой, и «звери» побежали на «ловца» стаей. Разъяснения начали

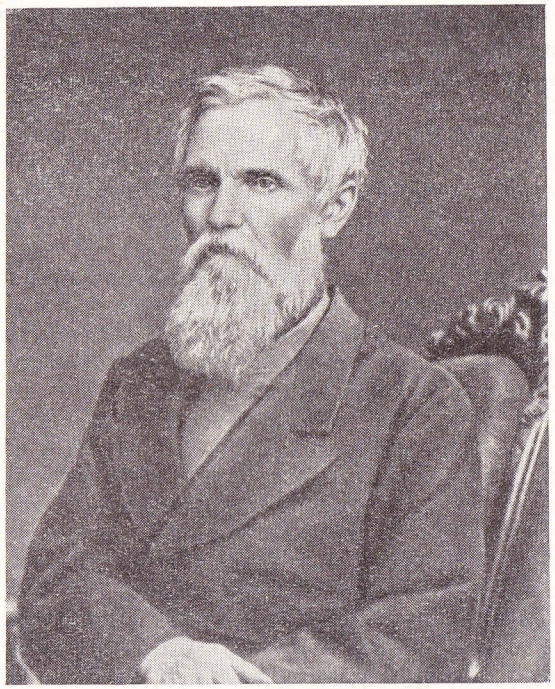
выплывать с обеих сторон: с арабской и с русской. В собраниях Азиатского музея нашелся автограф воспоминаний зятя Шамиля об их пребывании в России; автор очень тепло отзывался там о «полковнике Богуславском», который, как владеющий арабским языком, был приставлен к ним в Петербурге и в первое время их пребывания в Калуге. Русские документы подтвердили, что он был первым приставом при Шамиле, а затем его сменили Руновский и Пржецлавский. В литературе последние были известны, так как немало выступали в печати со своими воспоминаниями и статьями о Шамиле, главным образом за время его жизни в России. В противоположность им, Богуславский почти ничего не писал, имея для этого, вероятно, какие-нибудь особые основания. Об этом приходится пожалеть, так как все арабские материалы, связанные с Шамилем, в лучших тонах всегда отзываются о первом приставе.

Вероятно, его лаконичность послужила причиной того, что так мало сведений о нем самом сохранилось в печати. По своему востоковедному образованию он был как-то связан с Петербургским университетом. Впоследствии декан факультета восточных языков, знаменитый в то время А. К. Казембек в одной из своих записок по вопросам востоковедения указывал на Д. Н. Богуславского, как на пример того, чего может достичь даже не студент, а вольнослушатель в условиях университетского преподавания. Когда эта записка сочинялась, последний состоял уже при нашем посольстве в Константинополе. Новая выплывшая случайность позволила предположить, что его интересы в эту пору выходили далеко за рамки функций обычного военного атташе. В одной из ленинградских библиотек сохранился интересный экземпляр книжки со стихотворениями арабского журналиста-эмигранта Ризкаллаха Хассуна, переводчика Крылова. Он был поднесен автором Богуславскому с посвящением в очень трогательных стихах с какими-то намеками на оказанную помощь. Весьма возможно, что Богуславский содействовал его бегству из Турции в Россию.

В Константинополе Богуславским был подготовлен и перевод Корана, попавший в мои руки,— труд, который дает полное право этому генералу на место в истории нашей арабистики. За XIX и XX века это всего второй случай перевода Корана на русский язык с подлинника. Судя

по внешности, он предназначался к печати и, если остался неопубликованным, то, вероятно, потому, что как раз в это время, в 70-х годах, появился в Казани перевод Г. С. Саблукова, бывшего когда-то в Саратове учителем Чернышевского. Саблуков являлся, можно сказать, профессионалом, посвятившим несколько десятилетий своей работе, но характерно, что в конце 90-х годов, когда уже вдова Богуславского представила его перевод в Академию наук, В. Р. Розен в своем отзыве, который удалось обнаружить в архиве, отметил, что он по своим достоинствам не уступает саблуковскому. Такая оценка со стороны арабиста первой величины много значит, и если взвесить все условия нашего культурного развития в середине XIX века, то, вероятно, придется признать, что подняться до такой научной высоты генералу было, пожалуй, труднее, чем профессору Духовной академии.

Я не знаю, нашелся ли у Богуславского в последующем поколении какой-нибудь ученик или продолжатель из тех, кто его знал и мог непосредственно проникнуться его интересами, но для меня знакомство с его фигурой незаметно и постепенно открыло совершенно неведомую раньше картину арабской литературы на Кавказе. Как часто бывает, только при первой концентрации мысли на новом сюжете, материала уже не надо было специально искать; он сам шел в руки и невольно приходилось удивляться, как раньше его могли не замечать. Письмо Шамиля к Богуславскому повлекло за собой ряд аналогичных памятников своеобразной деловой и эпистолярной литературы. Мало удовлетворительные переводы случайных толмачей вели к постепенно открывавшимся подлинникам, где иногда на первых порах ставила в тупик специфичность выработанных здесь форм арабской палеографии, вплоть до нигде более не встречающихся пояснительных значков. Разнообразие документов часто оживлялось такими курьезами, как обнаруженный в Ростовском музее приказ Шамиля на буковом листке. В коллекциях Азиатского музея всплывал давно там находившийся автограф воспоминаний о жизни в России зятя Шамиля, еще раз показывавший, как осторожно надо относиться к переводам даже пристава Руновского, которые считались авторитетным историческим источником. В наследии одного из профессоров факультета восточных языков был найден цензурный экземпляр истории Шамиля, составленной



Г. С. Саблуков (1804—1880)

одним из его ближайших секретарей, доведенной в последних редакциях до первых лет XX века.

Мастерское владение арабским литературным языком говорит о большой жизненности этой традиции и позже. Даже в 20-х годах два ингуша, присланные для завершения образования в Ленинградский институт восточных языков, знали только два языка: родной ингушский и арабский. Совершенно свободно они беседовали по-арабски на разнообразные темы мировой политики и современной жизни, а один с легкостью писал стихи по всем правилам старых арабских канонов. И в 30-х годах, когда мне было прислано собрание стихотворений арабских поэтов последнего времени с Северного Кавказа, я от неожиданности на первых порах заподозрил мистификацию: настолько меня поразило уверенное владение всеми прие-

мами и жанрами классической арабской поэзии. Никакой мистификации не было: мощная струя давней традиции донесла до наших дней арабский литературный язык, умерший в живой речи у себя на родине; здесь он жил полной жизнью не только в письменности, но и в разговоре. Его роль оказалась сыгранной окончательно только тогда, когда местные национальные языки после Великой Октябрьской социалистической революции получили, наконец, свою письменность.

Материалы стекались ко мне, картина ширилась, постепенно открывались истоки этой традиции, иногда уводившие нас далеко за пределы Турции, не только в Сирию или Египет, но даже в Аравию и в Йемен. С большим волнением я читал рассказ одного йеменца XVIII века, который на своей родине, в Санаа, услыхал какого-то приезжего дагестанца, говорившего на таком блестящем арабском языке, что «даже дрожь пошла». Теперь при отзыве природного араба мне стало понятно первое впечатление, произведенное на меня памятниками местной арабской литературы на Кавказе или арабской беседой с ингушами, случайно оказавшимися в Ленинграде.

Новый мир вырисовывался передо мною, открывалась своеобразная линия развития как бы боковой ветви арабской литературы, параллели к которой было бы трудно подыскать. Памятники ее, гораздо более разнообразные, чем казалось издали по первому взгляду, представляли интерес не только для местной истории, но и для арабистики, для общей истории арабской литературы. Они находились под боком, и немало надо удивляться тому, что университетская арабистика ни словом не обмолвилась о них за весь XIX век. Наука наша еще очень молода и не успела охватить всех областей, но, может быть, на Кавказ она не обратила внимания под влиянием частого и в науке психического настроения: то, что близко, не интересно. Вплотную к ней стояли только арабисты-практики из военных; фигура первого пристава при Шамиле выделяется среди них и входит в историю научной арабистики. Со временем, когда глава об арабской литературе на Кавказе займет по праву принадлежащее ей место в общем своде истории арабской литературы, надо будет не забывать, что первый толчок к знакомству с ней в нашем поколении был дан рукописями, связанными с фамилией генерала Богуславского.

VII. ТЕНИ ПРЕДКОВ

1. «Мученик арабской литературы» *(1910)*

В арабской литературе встречаются много антологий — сборников, посвященных любви и влюбленным. Они строятся по различной системе, бывают и прозаические и стихотворные, затрагивают всю богатую гамму человеческих чувств, начиная от рассказов про озритов — тот «род азров», которые «полюбив, умирают», как это в стихах поведал Гейне, в музыке Рубинштейн. Наряду с этим попадаются и такие отделы, которые в наше время поместили бы в трактат о патологии и даже психиатрии.

Часто в таких антологиях можно найти главу о тех, кто полюбил, увидав портрет,— сюжет, вызвавший много произведений в мировой литературе и высокого и обыденного стиля. Это чувство симпатии, возникающей по снимку с оригинала, хорошо знакомо всем, кто занимается рукописями, так как в нашем поколении часто приходится работать по фотографиям. Предки наши этого не знали; они всегда трудились или над оригиналами или над копиями с них, сделанными от руки. Даже при большом искусстве последние не могли отражать многих деталей; через них удавалось проникнуть только в содержание произведения, но нельзя было почувствовать «живой» рукописи со всеми неповторимыми чертами индивидуальности. Конечно, и фотография оставляет ученого беспомощным при сложных вопросах палеографического анализа, но все же как портрет дает возможность ощутить давно умершего человека, так и фотокопия позволяет представить того, кто писал оригинал. Она протокольно, бесстрастно, на другом материале, другими красками, но несравненно точнее, чем самая искусная человеческая рука, воспроизведет все приписки, выделит поправки, и нередко сквозь этот «вторичный» документ ясно проглянет фигура того, кто трудился над самой рукописью, кто изучал ее, кого так и не разглядели торопливые потомки, когда они держали в руках этот памятник.

Во время последнего, для меня, зимнего сезона в Бейруте в 1909/10 году мой учитель профессор-араб Л. Шейхо заканчивал долголетний труд по изданию стихотворной антологии IX века поэта аль-Бухтури. Это был сборник уже другого рода: он толковал не о любви и влюбленных, а частью о военной доблести — «Хамасе», от которой и получил свое название, по аналогии с трудом его современника и соперника Абу Теммама, частью о всяких моральных принципах, живо рисующих идеал первых веков расцвета арабской культуры.

Любопытна судьба этого сборника: он почему-то не пользовался у арабов популярностью, и мало кто о нем знал. Даже в XVII веке трудолюбивый комментатор Абд аль-Кадир Багдадский, который бóльшую часть жизни провел в Каире, но в своих скитаниях побывал и в Адрианополе и в Стамбуле, который в своем громадном своде «Сокровищница образованности» сохранил множество бесценных для нас цитат из пропавших сочинений, и тот сознавался, что про «Хамасу» аль-Бухтури не слыхивал. Судьба над ним подшутила. Как раз в том же XVII веке «франджи», уже близко прикоснувшиеся к сокровищам восточных литератур, начали систематически собирать рукописи. Голландский резидент в Турции, достойный питомец знаменитой лейденской школы арабистов, поднес родному университету свой «Legatum Warnerianum»— богатое собрание рукописей, где была и «Хамаса», вывезенная им из того же Стамбула. Рукопись и до наших дней остается уником; по ней и готовил свое издание Шейхо, сняв собственноручно копию в Лейдене еще в 90-х годах.

Встречаясь с ним тогда чуть ли не каждый день или на лекциях или в уютной Bibliothèque Orientale Университета св. Иосифа, я знал о ходе работы, иногда видал и корректуры. На прощание он дал мне отпечатанные листы, и я мог изучать их еще на пароходе по пути в Одессу. Все издание было закончено уже после того, как я вернулся в Россию во второй половине 1910 года. Немного раньше появилось в Лейдене роскошное фототипическое воспроизведение уникальной рукописи, так что я имел возможность представить себе изящный оригинал бейрутского издания, проверяя последнее в нужных случаях с полной точностью.

Погрузившись в антологию под живым впечатлением

недавних бейрутско-ливанских занятий, я очень скоро заметил, что на полях рукописи много приписок, сделанных другой рукой, чем оригинал. Большинство их было по-арабски, но встречались среди них и латинские, по-видимому принадлежавшие тому же лицу. К моему изумлению, ни бейрутский, ни лейденский издатель на них не обратили никакого внимания. Шейхо принял их за обычные заметки восточного переписчика или читателя и механически использовал для критики текста; он не заметил западного характера почерка и латинских приписок. Редактор лейденского издания даже не упомянул о них. Между тем, принадлежать обыкновенному рядовому читателю они не могли. В большинстве случаев это были удачные конъектуры, еще чаще варианты из других источников, которые обыкновенно указывались в латинских цитатах. По ним легко чувствовалось, что автору в совершенстве было известно все существовавшее в печатном воспроизведении до середины XVIII века и все находившееся в рукописях лейденского собрания, как теперь было легко проверить по изданиям за два последних столетия. Только основательный знаток с громадной начитанностью и великолепной памятью мог оставить эти приписки, говорящие, как свободно, без накопившихся у нас пособий, без всяких указателей он ориентировался в полутора тысячах отрывков, обыкновенно коротеньких, которые собраны в «Хамасе».

Кто же это мог быть? Сам владелец рукописей Варнер? Но цитаты дают иногда ссылки на издания XVIII века, а кроме того Варнер мало интересовался чисто литературными сюжетами. Кто-нибудь из голландцев XVIII века? Вероятно, один только старший Схультенс, основатель арабистической династии, занимавшей кафедру три четверти века, мог знать эти материалы во всей полноте, но для него арабистика была скорее «служанкой богословия», и едва ли он с таким увлечением стал бы погружаться в текстуальные соображения специально о поэзии. Значит, автора приписок надо искать среди приезжих в Голландию ученых за этот период. Случайное совпадение решило мой вопрос быстро и окончательно. Готовясь к лекциям по истории арабистики, я обратился, между прочим, к трагической автобиографии одного немецкого ученого XVIII века, и, как выжженная огненными буквами, встала у меня перед глазами одна из первых же стра-

ниц, где он говорил о своей идее отправиться в Лейден 22-летним юношей в 1738 году:

«Плохо мне от этого пришлось. Дорого, слишком дорого я должен был поплатиться за свою глупость! Я стал мучеником арабской литературы. О, если бы моя тогдашняя сжигающая жажда по этой литературе, которая сделала меня только несчастным, так как пришла слишком рано, в такое время, когда в ней не нуждались, а тем более не ценили и не могли вознаградить или ободрить,— если бы она нашла путь в душу, которая когда-нибудь могла оживить более счастливые времена! Если эти времена когда-нибудь (хотя на это не приходится надеяться) наступят, тогда арабскую литературу будут ценить выше и изучать прилежнее, чем делают теперь».

Так, в своем обычном, нервно загроможденном стиле писал «несравненный Рейске», как называл его знаменитый Моммсен, тот Рейске, которого теперь считают крупнейшим эллинистом и арабистом Германии в XVIII веке, но за которым правильнее было бы оставить эпитет «мученика арабской литературы», как на склоне лет он сам назвал себя. Это не было фразой. С того момента, как семнадцатилетним студентом в Лейпциге, куда он пришел из сиротского дома в Халле, он почувствовал, по собственным словам, «неизвестно откуда возникшее, несказанное, неудержимое стремление изучить арабский язык», до конца дней своих он «в полной мере испытал, что значит ужас бедности», как мрачно писал его биограф. И в параллель с этим вспоминаются слова другого великого современника, который сумел оценить его, Нибура, создавшего эпоху своим путешествием в Аравию, воспроизведенные его сыном, историком античности: «Если кто-нибудь в нашей нации испытал бедствия преследуемого совершенства, так это был Рейске..., который — как то знала вся Германия — боролся буквально с голодом». Каким-то суровым стилем трагического реквиема звучат то латинские, то старонемецкие фразы его биографов, и даже теперь, почти через два века, гнетущая сила их не слабеет.

Добравшись до Лейдена, конечно пешком, он провел там в бедственных условиях восемь лет своей молодости, «утоляя голод,— как он выражался,— богатыми блюдами Legati Warneriani». Он не только перечитал, но и переписал целую библиотеку арабских рукописей, главным образом, исторических и поэтических. В их числе была и



И. Я. Рейске (1716—1774)

«Хамаса» аль-Бухтури, копию с которой он закончил 10 сентября 1740 года. Следы его занятий над нею и сохранили приписки на лейденской рукописи, которые сберегла фотокопия с нее, показавшая мне путь к замечательной фигуре нашего злосчастного предка в науке.

Он пришел, действительно, раньше своего времени. В эпоху господства теории, что арабистика должна быть только ancilla theologiae, он осмелился заявлять, что «для истории и поэзии арабский язык может быть очень полезен, и тем сильнее я хотел бы, чтобы он у нас был более известен. Что так называемая «священная филология» может быть построена на нем, для меня безразлично... Если арабскому языку хотят помочь, его не следует изучать как теологию; при помощи его надо разъяснять и обогащать историю, географию, математику, физику и медицину». Так, Рейске можно считать первым, кто сознательно и широко провозгласил самостоятельное значе-

ние арабистики в востоковедении и науке вообще. Сочувствия этим взглядам в свою эпоху он найти не мог, и в лучшем случае на него смотрели, как на «большого чудака, почитавшего выше всего свою восточную ученость»; так у нас отзывались в том же XVIII веке о другом непонятом ориенталисте Кере, авторе затерявшегося проекта «Азиатской Академии или Общества наук и языков восточных» в России, о чем думал и Ломоносов.

Одну отраду находил Рейске в своих рукописях. И теперь трудно без волнения читать те строки, с которыми он обращался к ним, завершая свою автобиографию: «Детей у меня нет. Но мои дети, мои не имеющие отца сироты — мои манускрипты; с великой печалью я их воспитывал до их снаряжения и отправки в свет. Что с ними будет после моей смерти? Кто их примет к себе? Найдется ли верное, честное, благородно мыслящее сердце? Но пусть господь позаботится о них! Я с своей стороны сделал для них все, что мог, и, пока я жив, я не перестану, по возможности, помогать им в мире».

По счастью к рукописям судьба оказалась милостивее, чем к самому ученому. После его смерти они перешли к знаменитому Лессингу, автору «Натана Мудрого», одному из немногих, которые сумели оценить Рейске при жизни, а затем в копенгагенскую библиотеку. Некоторые из них увидели свет, как подготовленное им 5-томное издание хроники Абу-ль-Фиды, которым и теперь все историки пользуются; другие и до наших дней служат памятником неустанных трудов «мученика арабской литературы». Может быть, вести о нем докатились и до России. Когда Ольга Форш в «Якобинском заквасе» пишет, что на прощание с Радищевым и русскими студентами в Лейпциге «пришел и Якоб Рейске, ученый, основатель арабской филологии, старик, никогда не уверенный, будет ли у него на завтра обед», может быть, в этом и не выдержана строго историческая правда, но полностью отражена правда художественная и житейская.

Пусть же наши арабисты помнят, что те времена, о которых с недоверчивым пессимизмом мечтал один из мучеников науки, «когда арабскую литературу будут выше ценить и прилежнее изучать», наступили; это ко многому обязывает. В Арабском кабинете Института востоковедения Академии наук давно красуется на стене цитата из автобиографии не признанного при жизни ученого. При

взгляде на нее невольно вспоминается, в каких условиях иногда трудились наши предки по арабистике и какой великий пример они оставили нам.

2. «Тихий» Гиргас

(1901—1941)

Зимой 1907 года, занимаясь как-то вечером у барона В. Р. Розена, в антракте между разбором двух стихотворений аль-Ахталя я вспомнил про 20-летие смерти В. Ф. Гиргаса и спросил, почему так мало о нем известно. Всегда оживленный барон задумался и как-то притих. «Да что же о нем сказать? — заговорил он медленнее обыкновенного.— Тихий был человек, не любил и сам о себе говорить, не любил, чтобы другие о нем рассказывали. «Lathe biosas», учил он меня словами Эпикура, «живи скрыто». Как-то боялся рассердить судьбу, если его заметят, и даже в простом разговоре всегда арабское «истисна» не забывал, всегда говорил: «я зайду к вам вечером, ин ша Аллах — если Аллах соизволит». Больной был человек, много хворал, знал, что долго не проживет, и работал тихо, систематично, незаметно. Да, тихий был Владимир Федорович, мягкий, уступчивый, но только до известной грани, и дальше никто его сдвинуть не мог. Всю жизнь трудился, а как почувствовал, что конец подходит, отошел в сторону, да так же тихо, вдали от всех, умер; некоторые и до сих пор даты точной не знают. Недаром звали его тихим... Сделал немало и все так же для других незаметно. А вот мы со всей нашей суетой и за двадцать лет не удосужились кончить то, что он начал...» Барон задумался. Я не догадывался, конечно, на что он намекал, но было видно, что образ «тихого» учителя и друга навевал на него какие-то воспоминания; однако говорить не хотелось, ведь и он не любил говорить о себе.

А сделал Гиргас, действительно, много. И во времена моего студенчества в начале века, и теперь, через 60 лет после его смерти, питомцы университета с начала до конца окружены его пособиями. На первом курсе в наших руках прежде всего оказывалась специальная «Хрестоматия для первого курса», составленная Гиргасом и Розеном. В печатной грамматике у нас тогда нужды как-то не было; обходились мы записками со слов преподавателя.

На втором курсе появлялась большая хрестоматия тех же лиц, присоединялся большой словарь, составленный единолично Гиргасом, и они оставались неразлучными спутниками до конца университетского курса, а для многих и дальше. Ведь другого настоящего словаря классического языка на русском так и нет, спустя 65 лет после его выхода. Переиздавать его думали давно, еще в начале века, но и теперь на это трудно решиться, чтобы не вышло хуже, чем у Гиргаса в свое время. На третьем курсе к обычным пособиям присоединялась история IX века Абу Ханифы ад-Динавери, изданная Гиргасом, и учебник мусульманского права, переведенный с голландского им же. Историю арабской литературы к государственным экзаменам готовили мы по его же литографированному учебнику.

Так нас все время окружали книги Гиргаса, но сам он, хотя после его смерти прошло тогда едва 15 лет, представлялся нам какой-то мифической фигурой, которую начинали обволакивать легенды, вроде фантазии о его восточном (на самом деле белорусско-литовском) происхождении. В те годы я не подозревал, что и здесь рукописи откроют мне впоследствии многие стороны, если не его личности, то трудовой жизни, которые мало кому были известны; я не думал, что некоторые его работы окажутся моими спутниками до конца моих дней.

На исходе 1907 года, когда зашла речь о моей поездке в Сирию, Розен передал мне однажды небольшую обыкновенную тетрадку. Записанная аккуратным почерком Гиргаса, она содержала около 500 народных пословиц, собранных им, очевидно, во время пребывания в Сирии и Египте в начале 60-х годов. Интерес их заключался главным образом в том, что они отражали не литературный язык, а живой разговорный диалект, об изучении которого систематически европейская наука того времени еще не думала. Тетрадка приоткрыла мне занятия Гиргаса той областью, к которой он впоследствии не возвращался; я почувствовал в нем предшественника по интересу к разговорному языку и тогда же понял, насколько важно было бы опубликовать сборник даже и теперь. Его следовало бы проверить на месте, но я не рискнул взять тетрадку в свою первую поездку на Восток, когда побывал в Сирии и на Ливане, часто в тех местах, что и Гиргас. Это оказалось роковым: к арабам на их родину я больше не попал,



В. Ф. Гиргас (1835—1887)

проверить записи из живых уст полностью не удалось, и сборничек остается неизданным, хотя параллелей к нему накопилось у меня немало. Только незначительная часть его увидела свет в хрестоматии одного моего ученика.

Часто я вспоминал Гиргаса на Востоке за другой работой, которой там одно время занялся. Еще в студенческую пору, на лекциях у профессора Н. А. Медникова, разбирая историю Абу Ханифы ад-Динавери, я всегда, как на загадку, смотрел на французскую фразу обложки арабского текста «La préface et les index paraîtront plus tard»— предисловие и указатели выйдут позже. Ход жизни и науки казался мне по молодости гораздо проще, чем бывало на самом деле, и я недоумевал, почему это «plus tard» тянется с 1888 года, когда вышло издание, до XX века. Со временем я узнал всю историю издания,

очень поучительную для характеристики отношений Гиргаса и Розена.

Рукопись, считавшаяся тогда уником, являлась одним из перлов собрания Учебного отделения Министерства иностранных дел, перешедшего после революции в Институт востоковедения: она поступила туда с коллекцией нашего посланника в Стамбуле и Риме Италинского, вовсе не князя, как можно было бы думать по фамилии, а питомца Киевской духовной академии и доктора медицины Лондонского университета. Уже в возрасте 60 лет, в Турции, он изучил арабский язык и стал завзятым коллекционером рукописей, перебивая их иногда у знаменитого австрийца Хаммера. По-настоящему историю ад-Динавери открыл барон Розен, составляя свой каталог: он впервые оценил выдающееся значение памятника и списал его целиком, собираясь издать. Отвлеченный другими работами, он отказался в 80-х годах от этой мысли и передал копию Гиргасу. Тот и подготовил издание с привлечением второй, поступившей тем временем в лейденскую библиотеку, рукописи — автографа знаменитого историка, каллиграфа и дипломата эпохи монгольского нашествия, алеппинца Ибн аль-Адима. Увидеть издание законченным Гиргасу не было суждено,— его допечатал Розен, и тогда-то появилась на обложке фраза о предисловии и указателях. Может быть, на это он намекал в своем ответе на мой вопрос о Гиргасе, но спросить его прямо я как-то не решился. Отправляясь на Восток уже после его смерти, я захватил с собой без особых мыслей экземпляр издания Гиргаса.

В моих скитаниях за два года нередко наступали такие периоды тяжелого настроения, когда я почти не мог видеть людей и находил себе спасение и утешение только в какой-нибудь работе над рукописями и книгами. Так случилось летом 1909 года, и, вспомнив про неоконченную работу Гиргаса, я взялся 15 июня за составление указателей к истории ад-Динавери. Было это в приморском предместье Триполи, тихом городке аль-Мина, где я жил в комнатке второго этажа небольшого дома с окном в чистенький, выложенный каменными плитами дворик с крохотным цветником. Громадный олеандр, росший во дворе, протягивал цветущие ветви прямо в окно моей комнаты; хозяева говорили, что запах его прогоняет комаров. Природа, однако, мало меня успокаивала, и только

в работе над указателями я находил забвение. Кончил я их через два месяца, 22 августа, уже в местечке Амиюн на Ливане, к юго-востоку от Триполи.

И там у меня была комната во втором этаже с широким видом на виноградники по склонам Ливана. Природа здесь была величественна и прекрасна, но в нее часто врывались неожиданные диссонансы. Раз, возвратясь вечером, я едва успел разглядеть на своей постели свернувшуюся змею; другой раз я оказался невольным свидетелем истоарабской мести над школьным учителем, которого изрезали ножами, подкараулив в темноте. Он с трудом дополз до моей двери и долгие недели отлеживался у меня в комнате. Указатель, между тем, двигался исправно и занял больше двух тысяч карточек. Старательно я перевязал их, а летом следующего года привез с собой в Россию.

Мне очень хотелось как-нибудь отметить приближавшееся 25-летие со дня смерти Гиргаса, и в начале 1911 года я написал в Лейден известному среди арабистов всего мира издательству Брилля, которое в свое время напечатало арабский текст, не пожелает ли оно выполнить обещание, данное на обложке, и опубликовать подготовленные мной указатели. Велико было мое изумление, когда быстрее чем через две недели я получил в ответ не только письмо, но и отпечатанные листы указателя с просьбой просмотреть их. Из письма издателя выяснилось, что они были составлены учениками Розена еще в 90-х годах, проредактированы им самим и отпечатаны в 1904 году. Остановка была за Préface — предисловием, которое к Бриллю так и не поступило от Розена, несмотря на напоминания.

Вначале мне стало жутко, что я проделал бесполезную работу. Однако две тысячи карточек не пропали даром. Просмотр показал, что указатели Розена были составлены несколько по иной системе, чем у меня, и давали возможность перекрестной проверки и уточнения, кроме того, в них отсутствовали некоторые из подготовленных мною отделов; их легко было теперь допечатать. Я предложил Бриллю составить и недостающее предисловие с анализом рукописей, послуживших основой издания Гиргаса, с характеристикой накопившихся с той поры материалов, сводкой биографических данных об авторе и обзором его произведений, в особен-

ности же истории, представлявшей одну из ранних в арабской письменности попыток прагматического изложения. Каких-нибудь набросков на эти темы в бумагах Розена, хранившихся тогда у его старшего ученика, ираниста В. А. Жуковского, не нашлось, но у меня за последние годы накопилось уже немало нужных заметок, а лейденские рукописи оказалось нетрудно выписать в Петербург, в то же Учебное отделение Министерства иностранных дел на Большой Морской, где хранился наш бывший уникум.

К осени 1911 года моя работа была закончена. Печатание в Лейдене шло быстро, корректуры заняли три первых месяца 1912 года, и долгожданные Préface et index появились как раз к 25-летию со дня смерти издателя. Работу я посвятил памяти тех трех ученых, которым особенно обязано открытие и издание текста этой истории: русским — Гиргасу и Розену, голландцу — де Гуе. Ее сочувственно встретили западные и арабские ученые; имя «тихого» Гиргаса еще раз с благодарностью помянула наука.

Я сознавал все же, что наш долг перед его памятью далеко не погашен. О нем напоминали мне самые разнообразные обстоятельства. В университетской библиотеке попадались тома «Книги песен»— бесценной антологии X века, по которым он готовил указатели, участвуя в большом международном предприятии; фундаментальный том индексов появился в печати только к 1900 году и до сих пор остается одним из прекрасных «инструментов» нашей работы. По экземпляру библиотеки я опять мог видеть, как тщательно вел подготовку Гиргас, исписывая бисерным арабским почерком поля булакского издания. У одного букиниста случайно, с некоторыми его книгами попалась мне черновая, но, по обыкновению, очень аккуратная и четкая большая тетрадь с выписками для очерка истории арабской литературы. И здесь меньше половины вошло в литографию, обнаруживая, насколько строго он относился к предварительной стадии, умея черновой материал подчинять требованиям общего построения. Пересмотрел я за эти годы и те немногие арабские рукописи, которые перешли от него в университетскую библиотеку. И они приоткрывали передо мною различные стороны его интересов и работ.

С 1917 года еще ближе я подошел к Гиргасу. Секретарство на факультете, подготовка неосуществившейся тогда

истории кафедры и необходимость часто обращаться к архиву постоянно наталкивали на него. Его отчет о трехлетнем пребывании на Востоке, сохранившийся в делах факультета, точно предварял мои собственные впечатления через 50 лет; я как-то почувствовал в авторе своего последнего предшественника из Петербургского университета — предшественника по интересу к живому арабскому Востоку с его диалектами, с его только зарождавшейся тогда новой литературой, которую я застал уже на большом подъеме. Все меня влекло к Гиргасу, и к 40-летию его смерти мне опять захотелось помянуть его «не злым тихим словом» в отдельном очерке, как немного позже я сделал в особой книжке относительно одного из его предшественников, египетского Шейха Тантави.

Старательно собрал я все, что мог, для истории мало показного труда его ученой жизни, и только через этот труд можно было почувствовать его личность. Материалов для обрисовки последней не хватало: принцип lathe biosas был выдержан строго. Одна старинная фотография случайно сохранила болезненное лицо белорусского типа, со спокойно вдумчивыми глазами и небольшой круглой бородкой. Длинноватые волосы говорили, что это не обычный представитель административно-чиновных профессий эпохи александровских реформ.

Уже после моей статьи выплыл один источник, который всегда лучше отражает человека, чем его печатные труды или официальные бумаги,— письма к В. Р. Розену Гиргаса и его сестры, с которой он провел последние годы своей одинокой жизни. Протекшие десятилетия санкционировали теперь использование этих писем; нужна только осторожная и чуткая рука, которая сумела бы извлечь оттуда немногие не известные еще факты внешней биографии, а самое главное — большое количество мелких черточек для характеристики личности «тихого Владимира Федоровича». Таким он сквозит и в этих листках писем, со всегда ровным аккуратным почерком, всегда спокойным тоном старшего товарища, обращенным к младшему, иногда «беспокойному», другу, неустанную научно-организационную инициативу которого он рано оценил высоко и охотно ей подчинился уже с 70-х годов.

Долги наши перед его памятью все еще не ликвидированы, и не только в отношении писем. В такой медленности мы сами виноваты, но не всегда. Если собранные им

пословицы до сих пор не опубликованы полностью, то задержал это старый принцип «лучшее — враг хорошего» — стремление подобрать параллели по разным изданиям, появившимся со времен Гиргаса. Долголетняя работа показала, что всего не исчерпать и лучше дать хотя бы основной стержень в том виде, как его оставил Гиргас.

Другое, более крупное дело — завершение работы поколений русских ученых над историей ад-Динавери, открытой Розеном, изданной Гиргасом. Русским ученым и надлежит дать еще научно-критический перевод, которого давно ждут, о чем думал уже Розен, поручая иногда отдельные части для обработки своим ученикам. Мысли об этом вновь возродились в конце 30-х годов, выливаясь уже в коллективное предприятие. К 1941 году дело близилось к концу, нашлись солидные переводчики для всех частей и, что особенно иногда важно, умелый и энергичный секретарь комиссии «по ад-Динавери». Можно было думать об окончательной редактуре, однако блокада Ленинграда погубила и секретаря и нескольких переводчиков... Материалы сохранились, но трудно браться за окончание дела со старыми, иссякающими силами. Вероятно, этот долг придется оплачивать уже следующему поколению.

Я и писал эти строки в надежде, что они попадут в руки кого-нибудь из тех, кому судьба передаст «факел преемственности» в нашей арабистике. Пусть они, в меру сил, постараются, как в свое время я, оживить память и продолжить достойную работу того, кого современники называли «тихим» Гиргасом.

3. Полвека над одной рукописью

(1903—1938)

Бывают рукописи, перед которыми чувствуешь себя, как тот легендарный ученик чародея, который вызвал духов и не мог сам с ними справиться. Только вспомнишь про них и захочешь рассказать, как рядом с ними встает такая цепь фигур и далекого векового прошлого и близких лет своей собственной жизни, что надо было бы писать об этом не то целую книгу, не то роман. «Жизни мышья беготня» не позволяет уделить много времени одной теме, и усилием воли прогоняешь встающие мысли, чаще всего о той именно рукописи, о тех сюжетах, которые особенно

дороги, с которыми особенно сжился. Но иногда рукописи оказываются настойчивыми. Беспомощным сознаешь себя, когда они сурово и властно поставят вопрос: «А кто после тебя расскажет об этом? Разве мы дали тебе право унести это с собой?» Веления вековой, неумирающей науки строги, и своя индивидуальная воля в конце концов отступает перед ними.

Мало проходит в моей памяти старых рукописей, которые были бы в такой мере связаны с современным ученым, как ленинградский сборник стихотворений аль-Ахталя, друга Иоанна Дамаскина, и его издатель, бейрутский ученый Сальхани, араб из Дамаска. Имя этого поэта давно вошло в мои воспоминания, еще со второго курса университета в 1903 году.

Скитаясь достаточно беспомощно по страницам толстой арабской хрестоматии Гиргаса и Розена, я случайно набрел тогда на три поразивших меня стиха. Халиф предложил аль-Ахталю, христианину, принять ислам, а он, не то из озорства, не то под влиянием винных паров, ответил ему энергичным экспромтом:

«Не стану я поститься в рамадан добровольно, не стану я есть мяса жертвенных животных».

«Не стану я никогда подниматься, взывая как осел: „спешите на молитву“».

«Нет, буду я пить вино прохладным и падать ниц на рассвете зари».

И это издевательство не только над мусульманским запретом вина, но и над обрядами поста, хаджжа и азана прошло поэту безнаказанно. Разгневанный халиф удовлетворился двумя другими, не менее озорными стихами, в которых поэт живо обрисовал настроение, овладевающее им под влиянием вина.

Эти строки дали мне для понимания внутренних отношений в халифате едва ли не больше, чем некоторые страницы не раз перечитанной «Истории ислама» А. Мюллера. Стихи были, конечно, дерзки, и когда в 90-х годах прошлого века они впервые появились в печатном виде в Бейруте, их можно было провести через турецкую цензуру, только превратив, при помощи одной точки над буквой зазорного «осла», с которым поэт сравнил муаззина, в безобидных «других». Так, турецкая цензура XIX века оказалась щепетильнее дамасского халифа VIII века. Хитроумный издатель обошел ее еще и тем, что в печатных

экземплярах, предназначенных для Европы, сохранил неприкосновенным правильное чтение с «ослом».

Об этом издателе я впервые услыхал обстоятельно от барона Розена, когда он в январе 1906 года, по окончании мною университета, предложил заняться вместе разбором всего дивана аль-Ахталя. Для меня это было двойным праздником. Опять вернулся ко мне поэт, на которого так случайно натолкнулся я в хрестоматии, а кроме того, теперь я мог близко познакомиться со знаменитой рукописью стихотворений у нас, которая послужила основой издания.

Рукопись находилась тогда в Учебном отделении Министерства иностранных дел, куда поступила с коллекцией того же Италинского, семинариста и медика, посланника и археолога, который сохранил нам и историю ад-Динавери. Как выразился Розен, она была лучшим украшением библиотеки Италинского и стала жемчужиной собрания отделения. Знатоки, имевшие «нюх», ее находили. Еще в 1867 году списал ее для себя арабский эмигрант, переводчик Крылова, живший тогда в Петербурге, Ризкаллах Хассун, и эта копия, попавшая через два десятка лет в Бейрут, дала первый толчок изданию. До этого нашу рукопись думал издать английский арабист В. Райт, но... «дуют ветры не так, как хотят корабли», сказал арабский поэт, и Райт не успел осуществить план, закончив свой путь в 1889 году. По-настоящему рукопись открыл только Розен своим каталогом, но и до этого наши историки знали, что у аль-Ахталя находится едва ли не древнейшее у арабов упоминание «саклабов» (славян): верблюды каравана сторонятся встречных людей, «точно видят в них толпу златокудрых саклабов».

Как раз в год смерти Райта копия Хассуна попала в Бейрут и здесь, можно сказать, изменила течение жизни уже не молодого ученого А. Сальхани. Он сам позже писал: «Перечитав эти страницы, оживленные дыханием чистейшей поэзии, мы решили, что нельзя дольше оставлять зарытым такое сокровище». И до этого Сальхани был известен в науке как основательный филолог и тонкий знаток памятников родной литературы. Им было выпущено пятитомное издание «1001 ночи», единственное пригодное для широкого обращения; он подготовил тщательно обработанную, удачно составленную хрестоматию из классической громадной антологии «Книга песен». Теперь



Аль-Ахталь Унван рукописи Д 164 из собрания Италинского. Ленинград, Институт народов Азии АН СССР

его внимание устремилось почти целиком на давнего земляка.

Трудностей было немало, прежде всего технических. Нашу рукопись в то время нельзя было выслать в Бейрут; фотографии с манускриптов еще не были распространены. Выход предложил Розен. Сальхани подготовлял издание по копии Хассуна и присылал свой список в Петербург, где его полностью сличал по оригиналу Розен, снабжая всякими дополнительными замечаниями. Печатание в Бейруте шло быстро: начатое в 1891 году, оно закончилось уже через год четвертым выпуском. Наша рукопись была издана полностью, с тщательным детальным комментарием. Началась работа над составлением указателей, дополнительной отделкой текста и собиранием цитат по

всяким источникам. Как часто бывает в науке при целеустремленном внимании, стали выплывать новые материалы — «на ловца и зверь бежит». Нашлась рукопись в Багдаде, затем в Йемене; обе были, правда, дефектны и состояли из разрозненных листков, но все же во многом вносили новое освещение. Обе издал Сальхани в 1905 и 1907 годах, воспользовавшись услугами прогрессировавшей техники фототипии.

Эти издания совпали по выходу с началом моих занятий у Розена: ему захотелось еще раз вернуться к поэту, которому 15 лет тому назад он посвятил немало труда и времени. Сальхани, по просьбе Розена, перед которым он благоговел, быстро прислал мне свои издания, и я, не без некоторой гордости по малолетству в науке, мог заниматься по собственным книгам. Для меня такая школа текстуальной работы по изданию и трем рукописям была на первых порах трудновата, но исключительно полезна. Целый год мы усердно штудировали истобедуинские, «верблюжьи» касыды «певца Омейядов», ярко отражавшие жизнь халифата в VII — VIII веках, хорошо знакомившие с традицией всей доисламской древности.

Переписка Розена с Сальхани явилась одним из обстоятельств, направивших мою поездку на Восток, в Сирию. Приехав в Бейрут летом 1908 года, я на другой же день отыскал в Университете св. Иосифа издателя аль-Ахталя. В небольшой комнатке, где ничего не было, кроме самой необходимой мебели, за столом, заваленным корректурами и книгами, передо мною оказался невысокий худенький старик (ему было уже за 60 лет) с очень пытливыми глазами, чисто библейской наружности, с большой седой бородой. Строгая выдержка сквозила у него в обращении, но чувствовалось, что память Розена, которого он никогда не видел, была для него священной. С первых же моих шагов он счел нужным заботиться не только о моих ученых делах, но и житейском устройстве. Преклонный возраст позволил ему оставить долголетнее редакторство университетской газеты и прекратить преподавание в средней школе. В университете он тоже не вел занятий, но это не мешало мне беседовать с ним чаще, чем с моими профессорами. Разница лет не могла не сказываться, но аль-Ахталь быстро нас сблизил.

В это время он готовил пятый выпуск со всякими дополнениями и комментариями, главным образом, по текстуальной критике. Выпуск настолько разрастался, что пришлось подумать о разделении его на две части, отнеся указатели ко второй. Мне было интересно следить за всей системой работы, доведенной до крайней степени тщательности. Акрибия Сальхани требовала, несмотря на очень высокое искусство бейрутской типографии, до 10—15 корректур, и я с большим удовольствием и не меньшей пользой для себя помогал ему в чтении. В июне 1909 года выпуск появился в свет; началась работа над указателями, в которой я также принял участие. Расставаясь с Сальхани летом 1910 года, я не подозревал, что выход второй части затянется на долгие годы.

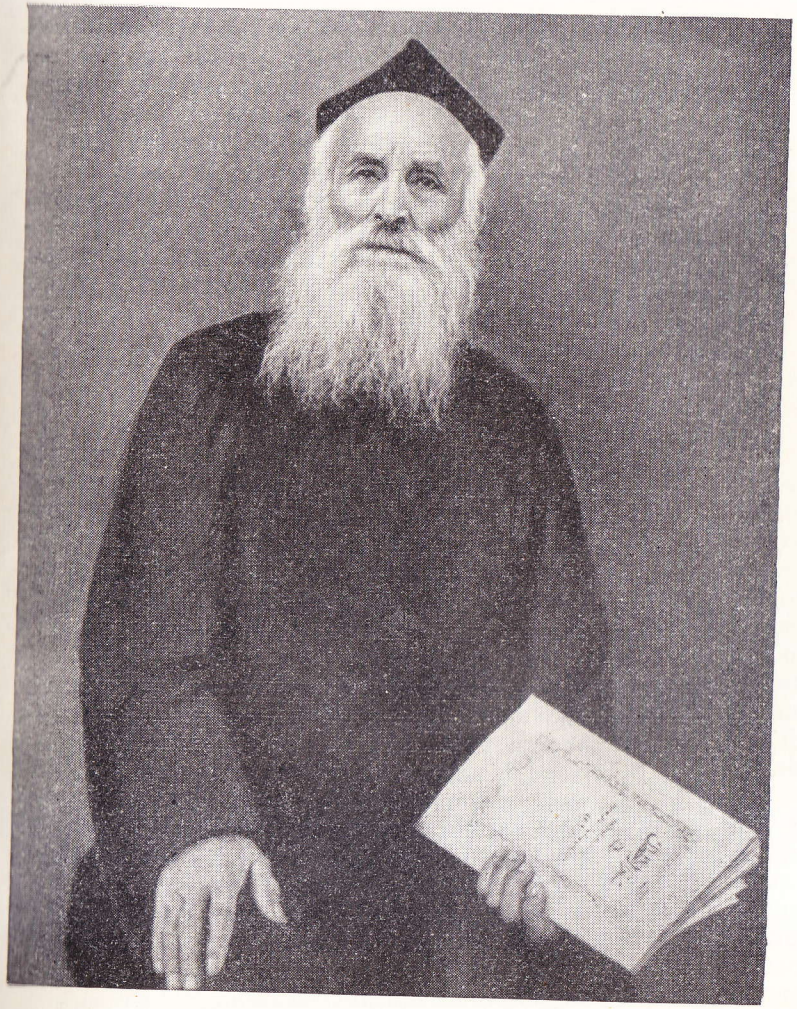
Сальхани трудился неустанно, но аль-Ахталь ставил перед ним все новые задачи и увлекал дальше и дальше новыми рукописями. В 1914 году заслуженный издатель поехал специально в Стамбул, чтобы непосредственно изучить находившийся там сборник полемических стихотворений аль-Ахталя и его современника Джерира. Вспыхнувшая война задержала надолго все планы. От нее значительно пострадали и университет и типография. Только к 20-м годам работа стала восстанавливаться, и в 1922 году Сальхани мог выпустить издание стамбульского сборника, а через три года, наконец, и вторую часть пятого выпуска с дополнениями и указателями. Однако на этом его работа с аль-Ахталем не кончилась: в декабре 1925 года он напечатал еще небольшую выборку касыд, которые до тех пор существовали только в фототипическом воспроизведении багдадской и йеменской рукописей и, естественно, не всем были легко доступны. Заканчивая предисловие к этой работе, он назвал ее последней своей публикацией, относящейся к аль-Ахталю. Основания так думать по человеческим соображениям, конечно, были: ведь в том году истекло 35 лет занятий его над нашей рукописью, а возраст близился к 80 годам, когда человеку мало свойственно строить планы далеких работ.

Однако рукописи часто неожиданно распоряжаются судьбой людей, направляя ее по-своему: трудно уйти из-под их власти тому, кто с ними сжился. И на этот раз дружба Сальхани с аль-Ахталем не прервалась на издании 1925 года; мало того, и мне пришлось сыграть некоторую роль в новом открытии, и я не расстался с близким мне поэтом.

Возвращаясь к нему время от времени, главным образом в связи с периодическими публикациями Сальхани, я чувствовал какую-то неудовлетворенность от своего научного эгоизма: занимаясь столько лет его творчеством, я, однако, ничего о нем не писал, хотя разных мелких тем и материалов накопилось у меня изрядное количество. Подходящий случай представился в 1931 году, когда я получил приглашение принять участие в международном юбилейном сборнике Георга Якоба. Я высоко ценил его эпохальные работы по арабской поэзии, в особенности непревзойденные исследования ранней бедуинской жизни на анализе поэтических источников. В параллель к его изысканиям мне захотелось проследить мотив вина, как он отразился в стихах аль-Ахталя и с культурно-исторической и стилистической точек зрения. В своей статье попутно я отметил еще одну рукопись стихотворений аль-Ахталя, которую открыл в Тегеране мой младший товарищ, иранист А. А. Ромаскевич, трагически погибший во время ленинградской блокады 1942 года. Сборник вышел в 1932 году к 70-летию почтенного ориенталиста, и первый оттиск своей работы я направил старому наставнику и другу в Бейрут, чтобы показать, как его любимый аль-Ахталь живет и в наших мыслях.

Через месяц я получил от Сальхани письмо, писанное все тем же каламом — тростниковым пером, которым он предпочитал пользоваться вместо стальных, все тем же своеобразным почерком, к которому я привык с 1906 года, а ведь теперь ему было 85 лет! Он просил сообщить некоторые детали о новой рукописи, что я постарался выполнить при содействии А. А. Ромаскевича, который когда-то рассматривал ее на месте.

Наша переписка на этом прекратилась, и при сложных в то время сношениях с Востоком я часто думал, жив ли мой последний бейрутский учитель: ведь он был старше многих отшедших и всю жизнь страдал перемежающейся лихорадкой. Неожиданно в конце 1938 года я получил его новую, довольно большую работу, посвященную анализу тегеранской рукописи, с трогательной собственноручной надписью. Оказалось, что после моего письма Бейрутский университет начал переговоры с тегеранским владельцем рукописи о ее приобретении. Переговоры о цене тянулись больше четырех лет, но в конце концов рукопись перекочевала из Тегерана в Бейрут в мае



Антун Сальхани (1847—1941)

1937 года. Сальхани, которому в августе того же года исполнилось 90 лет, погрузился в ее детальное изучение; через год передо мною уже лежал итог его трудов — аккуратный, тщательно отпечатанный, образцово прокорректированный, с хорошими таблицами выпуск, где в

первой же строке поминалась наша петербургская рукопись, работа над которой была начата в 1891 году, а на второй странице шла речь об обстоятельствах открытия тегеранской рукописи, найденной русским ученым. Она, действительно, заслуживала внимания, и я представлял, с каким удовольствием на закате дней Сальхани наслаждался работой над ее изучением, как бы вознагражденный за долголетние труды новым приветом своего любимого поэта. Рукопись оказалась наиболее древней среди всех, теперь известных, и точно датировалась 1105 годом н. э., она была наиболее полна сравнительно с прочими и лучше всех сохранилась.

Не мог я не подивиться одному совпадению, про которое узнал из новой книжки Сальхани. Именно этой рукописью в 80-летнем возрасте занимался тот самый филолог ат-Тибризи, который молодым человеком пришел учиться к слепому Абу-ль-Аля, «заложнику двойной тюрьмы», со словарем на спине. Здесь мне опять довелось с ним встретиться. Так мир оказывается «тесен» не только для людей, с которыми неожиданно сталкиваешься в неожиданном месте: если долго проживешь с рукописями, то и при новом знакомстве встретишь часто старого друга в новой обстановке.

Только после второй мировой войны я получил сведения о Сальхани: он кончил жизнь, наполнившую почти столетие, 10 августа 1941 года и теперь, как выразился мой корреспондент, «спит последним сном под кедрами Джунии». Больше половины этой жизни мой бейрутский учитель посвятил своему земляку, «певцу Омейядов» аль-Ахталю, и нашей ленинградской рукописи стихов поэта.

ФИНАЛ

Requiem aeternam...

(1943)

Душа моя, элизиум теней,
Теней безмолвных, светлых и прекрасных...
Тютчев

... Одна за другой встают передо мною картины прошлого. Бесконечной лентой, все дальше и дальше развертываются они в памяти; я не в силах, я не хочу их остановить. Ведь каждая рукопись, старая и новая, арабская и русская, что мне вспоминается теперь, властно вошла в мою жизнь, по-своему меняла и расширяла ее. Не было бы их, и я не мог бы показать этого прошлого, не мог бы сам увидеть тех людей, что писали эти рукописи, и тех, о ком они писали. Немой осталась бы для меня история нашей науки; безжизненным, сухим списком звучали бы имена наших «предков», великих и скромных тружеников арабистики.

Рукописи позволили их увидеть иногда яснее, чем то было при их жизни; рукописи ввели меня в великий элизиум, элизиум «теней безмолвных, светлых и прекрасных», на моих глазах тени облекались всеми переливами жизни. Я вижу здесь и предков, и учителей, и товарищей. Рядом с гигантами нашей науки Френом и Розеном виднеются мне труженики, создавшие базу нашего преподавания: основатель московского востоковедения Болдырев, которого погубил пропуск в печать «философического письма» Чаадаева, и Гиргас, жертва вывезенного из Сирии туберкулеза. Рядом с блестящим когда-то бароном Брамбеусом — арабистом Сенковским, которым зачитывалась вся Россия, «люди одной книги»— Саблуков, любимый учитель Чернышевского, и Медников, которых знают теперь только ученые; рядом с русскими и арабы, трудившиеся

в России,— египтянин Шейх Тантави или дамаскинец Муркос. Среди штатских фигур виднеется и генерал Богуславский, с которым так подружился старик Шамиль. Одни твердо прошли свой путь до конца, другие пали под гнетом суровой судьбы, не свершив всего им положенного.

Сердце сжимается. Тени учителей не заслоняют рядом стоящих учеников, отшедших раньше нас. Много их видится мне: две великие войны рано скосили молодые цветы, и не всем дано было расцвесть в полном блеске. Но все они близко прикоснулись к науке и все были зачарованы ею. Как и со мной, рукописи говорили с ними живым языком, и часто ко мне приходили молодые друзья с сокровищами, что открыли их руки и глаза. Вместе мы радовались и вместе горевали, вместе переносили много тяжелых годин, когда их энтузиазм поддерживал мою падавшую бодрость.

Обширен «элизиум теней» и старших и младших поколений в нашей арабистике за два века; начнешь их считать и, как при счете звезд на небе, встают все новые и новые. Они много сделали для рукописей и книг; только книга может сохранить память о них. Уже четвертое десятилетие готовится она: из архивов, рукописей и печати переходят в нее все новые и новые имена, все новые черты жизни потрудившихся в арабистике или как-нибудь случайно отразивших ее. Это будет книга суровая, лаконичная и сухая, но ее поймут историки науки, историки нашей культуры. Может быть, в картинах, встающих теперь «над арабскими рукописями», живее, чем в ней, блеснут эти фигуры наших «предков» в арабистике; может быть, и «тени отшедших» когда-нибудь осветятся мягким лучом воспоминаний. Пусть же всякий, кто будет читать эту книжку, пожелает «Requiem aeternam»— вечного покоя и благодарной памяти для всех, кто связан с ее страницами.

ПРИЛОЖЕНИЕ

«Обязательность необязательного»

У поэта-философа Абу-ль-Аля, имя которого не один раз появляется на страницах этой книжки, есть сборник стихотворений под странным заглавием «Люзум ма ля яльзам» — «Обязательность того, что не обязательно». Обыкновенно в этом видят намек на сложную двойную рифму, примененную во всех его стихотворениях, хотя поэты пользуются ею для показа своего мастерства только изредка, в отдельных коротеньких отрывках. Несомненно, таков первый, в известной степени, «явный» смысл этого заглавия, но, зная приемы Абу-ль-Аля, можно быть уверенным, что он придавал ему и другое, «скрытое» значение. Он хотел сказать, что его мысли и выводы из них, которые он излагает в своих стихах, может быть и необязательны для других людей, но для него-то самого они обязательны, и он не может обойтись без них. Так и ученым-филологам трудно отказаться от своих привычек, кажущихся излишними обыкновенным читателям: эти авторы чувствуют себя удовлетворенными только тогда, когда рядом с основным «текстом» станет и «комментарий» и «супракомментарий», когда появятся и примечания, и указатели, и глоссарий. Все это «необязательно» для писателей, но ученые — люди «порченые», и «обязательность» таких «необязательных» приложений стала для них второй природой, которой не переделать.

Пока складывались отдельные части этой книжки, такие мысли не приходили мне в голову, но когда она стала приобретать окончательную форму, я увидел, что необходимо ее дополнить нашими обычными «учеными» приложениями. Об этом настойчиво и единогласно говорили мне замечания тех лиц, которые случайно знакомились с отдельными главами, указывая в особенности на чрезмерную лаконичность первого цикла, где многое остается непонятным для неспециалиста без пояснения. Я старался не увлекаться «учеными» тенденциями и ограничиться ответами только на те вопросы, с которыми ко мне обра-

щались. Вносить какие-нибудь «комментарии» в самый «текст» было невозможно, чтобы не нарушить ткани изложения; проще было дать весь этот «подсобный материал» в конце, куда те, кому он не интересен или не нужен, могут не заглядывать.

Прежде всего надо несколько дополнить вводные слова о ближайшем поводе, который вызвал появление этой книжки. В работах по истории науки, при составлении биобиблиографического словаря наших арабистов, меня всегда очень затрудняло то, что ученые редко говорят о себе, о своем внутреннем развитии, о том, что они переживали при той или иной работе, как они сделали какое-нибудь открытие. Отдельные моменты всего этого, конечно, иногда отражаются в биографиях и автобиографиях, но всегда в виде случайных беглых упоминаний. Добытые научные результаты и выводы всегда формулируются в специальных работах, но для такой «внутренней» биографии ученого там, конечно, нет места уже по самому характеру этих произведений, по их стилю. Во всей нашей литературе мне известна только одна книжка второстепенного немецкого ученого, рассказывающая живо и остроумно, как он изучал арабский язык (Martin Thilo. Was die Araber sagen. Bonn, 1939). Представители точных наук в этом отношении счастливее нас, филологов: у них есть блестящая книга академика А. Е. Ферсмана «Воспоминания о камне» (М.— Л., Изд-во АН СССР, 1945). Значение ее очень велико: об этом говорят не только повторные издания, но и тот живой отклик, который она вызвала во всех концах нашей страны, содействуя широким образом пропаганде науки, поддерживая высоко научный энтузиазм у тех, кто к ней прикоснулся. В мыслях у меня вместо камней всегда стояли рукописи — основной источник и материал нашей работы; так, давно уже определился сам собой стержень будущей книжки.

Непосредственным толчком, когда думы и образы стали настойчиво стремиться к изложению на бумаге, оказался юбилей долголетнего хранителя Рукописного отдела Публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде Ивана Афанасьевича Бычкова. Юбилей этот был тепло отмечен в начале 1941 года, и тогда же у меня зародилась идея вспомнить те арабские рукописи, которые в течение нескольких десятков лет я получал из его рук для разных своих работ. Так возник первый небольшой

цикл из пяти картинок с прологом и эпилогом, представлявший первоначально законченное целое.

Дальнейшие циклы слагались в несколько другом стиле и объеме, главным образом уже в 1942—1943 годах, когда Великая Отечественная война заставила меня покинуть на время Ленинград. Оказавшись впервые за долгие годы вдали от привычных библиотек, особенно остро я переживал тоску по рукописям и в воспоминаниях о них находил себе поддержку. К трем из этих циклов постепенно прибавились и вводные части, преимущественно личного мемуарного характера. Так как отдельные главы возникали не в той последовательности, в которой они теперь объединены, то я в примечаниях указал дату завершения каждой: в работе над историей науки я часто убеждался, как приходится иногда сожалеть об отсутствии хронологических вех. Поэтому теперь же, в тех случаях, когда действие рассказа можно было приурочить к определенным годам, я отмечал их рядом с заглавием.

Библиографическая справка мне понадобилась главным образом по двум обстоятельствам, которые выяснились при чтении отдельных отрывков представителям самых разнообразных специальностей. Обнаружилось, что слушатели иногда склонны принимать рассказы за литературный вымысел, в котором нет определенной конкретной основы. На это я должен был отвечать, что, наоборот, каждый из них передает действительный случай с рукописями, которые попадали мне в руки, и выдумка в основе сюжета совершенно отсутствует. Конечно, вспоминая о прошлом на протяжении четырех десятков лет с лишним, я мог забыть некоторые даты, мог переставить какие-нибудь детали, не точно по форме передать чей-нибудь разговор, тем более, что не всегда имел возможность навести справку, даже в своих собственных работах. Однако все картины отражают только реальные факты и переживавшиеся мною тогда чувства. Возможно, что в обрисовке последних иногда сказались протекшие годы, но самые факты воспроизведены без всяких изменений.

Для обоснования этого я и позволил себе дать в примечаниях почти к каждому отдельному номеру ссылки на свои работы, в которых говорится о тех же рукописях или сообщаются о них сведения, но уже в чисто научном аспекте. Полагаю, что эти ссылки окажутся полезными

и для тех, кто захочет получить более детальные сведения об упомянутых материалах или расшифровать какие-либо случайные намеки, на желательность чего тоже иногда указывалось слушателями, особенно первого цикла. Исчерпать весь научный аппарат я, конечно, не мог и не желал, так как это завело бы слишком далеко и сразу могло бы увеличить справку до объема самого текста. Я старался быть лаконичным и дать только основную нить, которая поможет тем, кто пожелает расширить свое знакомство с главными сюжетами, затронутыми в книжке. Поэтому я ограничился только ссылками на свои собственные работы, указывая номера их в «Библиографии» моих трудов, выпускаемой Издательством Академии наук СССР. В передаче имен и заглавий я, по примеру самой книжки, упрощал обычную научную транскрипцию. Той же цели — лаконичного комментария для лиц, которым он может понадобиться,— служат и объяснения некоторых собственных имен, названий и арабских слов.

Я хорошо понимаю, что все это, по существу, не представляет необходимости в книжке такого характера, все это относится к тому, что Абу-ль-Аля называл «обязательностью необязательного», но, может быть, кому-нибудь и это приложение окажется полезным. У арабов ведь есть пословица: «Увеличивать хорошее — хорошо», а читатели, которым это не нужно, на меня не посетуют— они могут не смотреть приложения.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

К истории книжки

На заседании Арабского кабинета Института востоковедения Академии наук СССР 13 мая 1941 г. был прочитан первый цикл этой книжки, который в то время носил еще самостоятельный характер законченного целого. Главы из других отделов впервые были оглашены на заседании Комиссии Академии наук СССР по изданию научно-популярной литературы 26 июня 1943 г. Сообщение о готовящейся книжке и чтении отрывков из нее на заседании Комиссии Академии наук СССР по изданию научно-популярной литературы 26 июня 1943 г. было помещено в «Вестнике АН СССР» (№ 7—8, 1943, 126). Первое издание книжки вышло в 1945 г., второе — в 1946 г., третье — в 1948 г.; ряд глав печатался также в серии «Библиотека „Огонька“», 1948, №№ 8—9. Полностью книга включена в Избранные сочинения, т. I, М.— Л., 1955, стр. 15—148[1].

I. В Рукописном отделе

1. *Старый апокриф*. См. «Новозаветный апокриф в арабской рукописи 885—886 года по Р. Х.» — «Визант. временник», XIV, 1907—1909, стр. 246—275 (Библиография, № 10) [2].

2. *Переводчик Крылова*. См. «Ризкаллах Хассун (1825—1880), переводчик басен Крылова на арабский язык».— «Вост. сб.», Л., изд. Гос. Публ. б-ки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, 1926, стр. 13—36 (Библиография, № 212). См. также: Избранные сочинения, т. III, стр. 150.

3. *Современник Хулагу*. См. «Angebliche Autographe des Geschichtsschreibers Kamal ad-din Ibn al-Adim in Leningrad». Der Islam, XV, 1926, 334—335 (Библиография, № 217). В этой заметке указана и предшествующая литература.

4. «*Заложник двойной тюрьмы*». Ср. «К истории и критике „ар-Рисāла ал-Фаллāхиййа“ Абӯ-л-ʿАлā».— «Зап. Вост. отд. Русск. археолог. об-ва», XXI (1911—1912) 1913, 0131—0137 (Библиография, № 52). См. также: Избранные сочинения, т. II, стр. 146.

5. *Из Сицилии через Персию в Петербург*. Научное описание рукописи географии ал-Идрīси, хранящейся в Публичной библиотеке, в печати еще не появилось. Ср.: I d r i s i. La Finlande. Edition critique par O. J. Tallgren-Tuulio et A. M. Tallgren (Studia Orientalia, III). Helsingsforsiae, 1930, 16, прим. 2.

---

[1] И. Ю. К р а ч к о в с к и й. Избранные сочинения, т. I—VI. М.— Л., 1955—1960.

[2] При ссылке «Библиография, №...» см. «Игнатий Юлианович Крачковский» (Материалы к библиографии ученых СССР). М.— Л., 1949.

II. Из скитаний по Востоку

1. *Книги и люди.* Написано в Москве 16—19 декабря 1942 г. О занятиях в Университете св. Иосифа см. «Восточный факультет Университета св. Иосифа в Бейруте. Из отчета о командировке».— ЖМНП, февраль, 1910. Совр. летоп., стр. 49—87 (Библиография, № 23).

2. *Грамматический трактат или антирелигиозный памфлет?* Написано в санатории «Сосновый Бор» (Болшево) около Москвы 11 и 13 сентября 1942 г. См. «Абӯ-л-ʿАлā ал-Маʿарри. Рисāлат алмалāʾ ика. Издание текста, перевод и комментарии».— «Тр. Ин-та востоковед. АН СССР», III, Л., 1932 (Библиография, № 281). А также: Избранные сочинения, т. II, стр. 392.

3. *Ненаписанная диссертация.* Написано в санатории «Сосновый Бор» 8—9 сентября 1942 г. См. «Арабские рукописи городской библиотеки в Александрии и дīвāн ʿОмара ал-Маххāра».— «Зап. Вост. отд. Русск. археолог. об-ва», XXII (1913—1914), 1915. 5—7 (Библиография, № 65). См. также: Избранные сочинения, т. II, стр. 152.

4. *Рукописи двух патриархов или сбывшееся предсказание.* Написано в санатории «Сосновый Бор» 18—20 сентября 1942 г. См. «Арабские рукописи из собрания Григория IV, патриарха антиохийского. Краткая опись».— «Изв. Кавказск. истор.-археолог. ин-та», II (1917—1925), 1927, 1—20 (Библиография, № 139). См. также: Избранные сочинения, т. VI, стр. 423.

III. Арабские писатели и русский арабист

1. *«Философ долины Фрейки».* Написано в Ленинграде 19 августа 1945 г. См. Амин Р е й х а н и. Избранные произведения. Перевод и примечания И. Ю. Крачковского. Пг., Изд-во «Огни», 1917 (Библиография, № 91); «Амин Рейхани. Стихотворения в прозе. Перевод И. Ю. Крачковского.— Сб. «Восток», I, 1922, 48—54 (Библиография, № 110). См. также: Избранные сочинения, т. III, стр. 137—147.

2. *Каирский аристократ—«феллах».* Написано в Ленинграде 29 октября 1945 г.

3. *Полтавский семинарист.* Написано в Ленинграде 6—8 ноября 1945 г. См. «Miḫāʾīl Naʿimahʾs Autobiographie».— «Die Welt des Islams», XIII, 1931, 104—110 (Библиография, № 279); Рец. на кн. М. Нуʿайме о Джебрāне.— «Сов. востоковед.», II, 1941, 291—293 (Библиография, № 372).

IV. В Азиатском музее

1. *Введение к легенде.* Написано в Москве 21—24 ноября 1942 г. Об истории Азиатского музея до 1919 г. см. «Азиатский музей Российской Академии наук, 1818—1918. Краткая памятка». Пг., 1920, Изд-во АН СССР (Библиография, № 102). См. также: Избранные сочинения, т. VI, стр. 383;— О Ф. А. Розенберге, см. некролог в «Изв. АН СССР, отд. общ. наук», (1935), 1936, 895—908(Библиография, № 340). В конце главы намек на легенду об Азиатском музее, сочиненную в стиле старофранцузских эпических сказаний одним молодым китаистом в начале 20-х годов XX века; действующими лицами являются работники Азиатского музея в то время. См. также: Избранные сочинения, т. V, стр. 372.

2. *Единственная рукопись и ученые «двенадесять язык».* Писалось в санатории «Сосновый Бор» и в Москве с 24 сентября по 11 октября 1942 г. Об Ибн Кузмане см. главу в статье «Арабская поэзия в Испании».— Сб. «Культура Испании», Изд-во АН СССР, 1940, стр. 111—112. Литература указана на стр. 116 (Библиография, № 366). См. также: Избранные сочинения, т. II, стр. 470. О коллекциях Руссо в Азиатском музее см. в статье «Неизвестное сочинение — автограф сирийского эмира Усамы».— «Зап. Коллег. востоковед. при Азиатск. муз. АН СССР», I, 1925, 16 (Библиография, № 181).

3. *Современник первого крестового похода.* Написано в Москве 16—18 октября 1942 г. См. «Неизвестное сочинение — автограф сирийского эмира Усамы».— «Зап. Коллег. востоковед. при Азиатск. муз. АН СССР», I, 1925, 1—18 (Библиография, № 181). Ср. «Усама ибн Мункыз. Книга назидания». Пер. М. А. Салье. Пг.— М., Изд-во «Всемирная литература», 1922 (Библиография, № 112). А также: Избранные сочинения, т. II, стр. 266.

4. *Лоцман Васко да Гамы.* Написано в Москве 29—30 ноября 1942 г. Краткое замечание о рукописи со снимком первой страницы в статье «Арабские географы и путешественники».— «Изв. Гос. геогр. об-ва», т. 69, вып. 5, 1937, 738—765 (Библиография, № 352).

V. В Университетской библиотеке

1. *Библиотекари и библиотека.* Написано в Москве 25—28 мая 1943 г.

2. *Впервые оппонентом на диссертации.* Написано в санатории «Узкое» около Москвы 6—8 июля 1943 г. См. «Один из источников для биографии аш-Ша ʿрāнӣ».— «Зап. Вост. отд. Русск. археолог. об-ва», XXII, 1915, 283—290 (Библиография, № 72). А также: Избранные сочинения, т. VI, стр. 355. Ср. рец. на кн. «А. Э. Шмидт. ʿАбд ал-Ваххāб аш-Шаʿрāний и его «Книга рассыпанных жемчужин». СПб., 1914».— ЖМНП, апрель, 1915, 388—400 (Библиография, № 75).

3. *От Каира до Волкова кладбища в Петербурге.* Написано в санатории «Узкое» 9—11 июля 1943 г. См. «Шейх Тантави, профессор С.-Петербургского университета (1810—1861)».— «Тр. Комиссии по истории знаний», № 8, Л., 1929 (Библиография, № 266). Ср. «Арабистика и история народов СССР».— «Вестн. АН СССР», 1938, № 5, 52—61 (Библиография, № 360). См. также: Избранные сочинения, т. V, стр. 229.

4. *Аль-Андалус и Ленинград.* Написано в санатории «Узкое» 13—16 июля 1943 г. См. «Полвека испанской арабистики».— «Зап. Коллег. востоковед. при Азиатск. муз. АН СССР», IV, 1930, 1—32 (Библиография, № 268). О Д. К. Петрове см. «Д. К. Петров — арабист».— «Зап. Коллег. востоковед. при Азиатск. муз. АН СССР», II, 1926, 163—170 (Библиография, № 215). См. также: Избранные сочинения, т. V, стр. 300.

VI. «На ловца и зверь бежит»

1. *Бронзовые таблички из страны царицы Савской.* Написано в санатории «Узкое» 24—25 июля 1943 г. См. «Две южноарабские надписи в Ленинграде».— «Изв. АН СССР, отд. общ. наук», 1931, 427—453 (Библиография, № 277). См. также: Избранные сочинения, т. I, стр. 396—414.

2. *Письмо из Согдианы.* Написано в санатории «Узкое» 19—20 июля 1943 г. См. «Древнейший арабский документ из Средней Азии».— «Согдийский сборник», Л., 1934, Изд-во АН СССР, стр. 52—90 (Библиография, № 312). См. также: Избранные сочинения, т. I, стр. 182, 212.

3. *Куфический Коран* и *«бабушка-арабка».* Написано в Ленинграде 8 марта 1942 г. Избранные сочинения, т. I, стр. 115—118. Об И. Г. Нофале см. «Новая рукопись описания России Шейха ат-Танта̄вӣ». — «ДАН СССР», В, 1928, 302, прим. 2 (Библиография, № 251). См. также: Избранные сочинения, т. I, стр. 131.

4. *Пристав при Шамиле в Калуге.* Написано в санатории «Узкое» 28—29 июля 1943 г. См. «Неизданное письмо Шамиля».— «Зап. Ин-та востоковед. АН СССР», II, 1933, 1—7 (Библиография, № 292). См. также: Избранные сочинения, т. VI, стр. 551. «Перевод Корана Д. Н. Богуславского».— «Сов. востоковед.», III, 1945, 293—301 (Библиография, № 402). См. также: Избранные сочинения, т. I, стр. 213—224. — «Чернышевский и ориенталист Саблуков». — «Н. Г. Чернышевский (1889—1939). Тр. научной сессии к пятидесятилетию со дня смерти». Л., 1941, стр. 34—45 (Библиография, № 378).— «Арабистика и история народов СССР».— «Вестн. АН СССР», 1938, № 5, стр. 57—59 (Библиография, № 360).

VII. Тени предков

1. «*Мученик арабской литературы*». Написано в Ленинграде 1 августа 1945 г. См. «Ха̄маса Бухтурӣ и ее первый исследователь в Европе».— «Зап. Вост. отд. Русск. археолог. об-ва», XXI (1911—1912), 1913, 022—033 (Библиография, № 49). См. также: Избранные сочинения, т. II, стр. 128.

2. «*Тихий*» *Гиргас.* Написано в Ленинграде 5 августа 1945 г. См. «В. Ф. Гиргас. (К сорокалетию со дня его смерти)».— «Зап. Коллег. востоковед. при Азиатск. муз.», т. III, 1928, 63—90 (Библиография, № 238). А также: Избранные сочинения, т. VI, стр. 562.

3. *Полвека над одной рукописью.* Написано в Ленинграде 9—10 августа 1945 г. См. «Восточный факультет Университета св. Иосифа в Бейруте».— ЖМНП, февраль, 1910, совр. летопись, 77—78 (отд. отт., 31—32) (Библиография, № 23).

Переводы и рецензии

По рукописи выполнен перевод «От Каира до Волкова кладбища в Петербурге» на арабский язык в журнале «ал-Мустамӣʿ ал-ʿарабӣ» («Арабский радиослушатель»), т. V, 1944, № 15, стр. 4—5; № 16, 6—7; № 17, стр. 6—7 (9 и 23 ноября, 9 декабря, с илл.).

По первому изданию дан перевод в сокращенном виде «Книги и люди», «Грамматический трактат или антирелигиозный памфлет», более полно — «Ненаписанная диссертация», «Письмо из Согдианы»: на английский язык — в журнале «International Literature», № 9, 1945, стр. 45—46, 46—48, 48—50; на французский —«La littérature sovietique», № 2, 1946, стр. 44—45, 45—46, 46—48, 48—51; на арабский язык—журналы «ал-Ватан» (Родина), № 24, 1946, стр. 10—11, 11—12; № 25, стр. 16—19 и № 26, стр. 15—18 (15 и 26 января, 2 февраля, пер. А. Каттана) и «ал-Катиб ал-мисрӣ» («Египетский писатель»), т. IV, № 13, октябрь 1946 г., стр. 150—161 (пер. Х. Садо). Перевод из «ал-Ватан» перепечатан в отдельной брошюре «ад-Дира̄сат ал-ʿарабийа фӣ-л-Иттиха̄д ас-Советѣ» (Арабские штудии в Советском Союзе), Багдад, типография ал-Маʿарри, 1946, стр. 37—39, 39—44, 44—54, 54—68.

По второму изданию дан перевод на французский язык работы «Каирский аристократ — „феллах“» в «Revue Africaine», № 406—409, 1945, стр. 130—139 (пер. М. Канара) и на испанский — работы «Единственная рукопись и ученые „двенадесять язык“», в «Literatura sovietica», № 12, 1946, стр. 53—55 и 63 (пер. Мариано Эчеварриа).

В настоящее время вышли в свет следующие переводы данной книги:

I. J. Kratschkovski. Über arabische Handschriften gebeugt. Erinnerungen an Bücher und Menschen. Aus dem Russischen von Dr. Oscar P. Trautmann. Leipzig, 1949.

Ignacy Kraczkowski. Nad arabskimi rękopisami. Kartki ze wspomnień o księgach i ludziach. Przełożył oraz wstępem i przypisami opatrzył Ananiasz Zajączkowski. Warszawa, 1952.

Among Arabic Manuscripts. Memories of Libraries and Men by I. Y. Kratschkovsky. Translated from Russian by Tatiana Minorsky. Leiden, 1953.

Avec les manuscrits arabes. (Souvenirs sur les livres et les hommes) par I. Kratchkovsky. Traduit du russe par M. Canard. Alger, 1954. (Publications de l'Institut d'Etudes Orientales de la Faculte des Lettres d'Alger, XIV).

Ignatij Julianovč Kračkovskij. Nad arabskými rukopisy. Hrst vzpomínek o knihách a liděch... přelozyl a poznámkami doplnil dr. Ivan Hrbek. Předmluvu napsal akademik Jan Rypka. Československá Academie Věd. Praha, 1961.

* * *

М. В. Чураков. Увлекательная книга. — «Ленинградская правда». 1945, № 209 (9244).

Сергей Марков. Книга рассыпанных жемчужин.— «Литературная газета», 1945, № 49 (2260).

Б. Н. Заходер. Книги и люди.—«Изв. АН СССР, сер. ист. и филос.», т. II, 1945, № 5, 391—393.

А. Садовский. Жизнь ученого.— «Вечерний Ленинград», 1946, № 75/94.

Михаил Ну'айме.—«Ат-Тариқ» («Путь»), год V, 1946, № 3.

F. Gabrieli. L'autobiografia scientifica di Ignatio Krackovskij.— «Oriente Moderno», XXVI, № 1—6, 1946, 37—41.

А. Каттан.—«Ал-Ватан» («Родина»), 1946, № 24.

M. Canard. Quarante ans sur les manuscrits arabes. — «Revue Africaine», 1945, № 406—409.

S. Kara-Murza. Memorias del Academico Ignati Kratchkovski.— «Literatura sovietica», 1946, № 12.
I. Mecerian.— «Mélanges de l'Université Saint Joseph», XXVI, Beyrouth, 1944—1946.
К. Григорьян. Книга о труде ученого.—«Комсомольская правда», 1947, № 74/6706.
К. Н. Григорьян. Книга о высокой радости ученого.— «Изв. АН Арм. ССР, сер. общ. наук», 1947, № 5.
С. Марков. Лоцман Васко да Гамы.—«Вокруг света», 1947, № 12

СОБСТВЕННЫЕ ИМЕНА И НАЗВАНИЯ

аль-Азхар — мечеть с высшей школой в Каире, основанной в X в.
аль-Андалус — арабское название Испании.

Бабиды — последователи Баба, основателя религиозного учения в Иране около середины XIX в.

Брокельман К.— востоковед, составитель основного справочника по истории арабской литературы.
Бычков А. Ф. (1818—1899) — хранитель с 1844 г. Рукописного отдела и впоследствии долголетний директор Публичной библиотеки; его сын — И. А. Бычков (1858—1944) был более 60 лет (1881—1944) хранителем Рукописного отдела, сменившего за столетие только двух хранителей.

Дорн Б. А.— востоковед, составитель каталога восточных рукописей Публичной библиотеки в Петербурге.

Куфический (шрифт) — архаичное арабское письмо, традиционно связываемое с г. Куфой.

Магриб — запад, арабское название Северной Африки к западу от Египта.
Магрибинский (шрифт) — арабское письмо, распространенное в Северной Африке.
Мамлюкские султаны — правители Египта в XIII—XV вв.
Мароните — христианская народность на Ливане.
аль-Машрик — «Восток», арабский журнал в Бейруте.
Медресе ан-Низамийя — высшая школа в средневековом Багдаде, основанная везиром Низам аль-Мульком.
Мориски — потомки арабов в Испании, насильственно обращенные в христианство.
Моса́рабы — испанские христиане, сохранившие религию, но принявшие арабский язык.
Муаллаки — «отборные» — арабские стихотворения эпохи до ислама.

Нестор-летописец — известная скульптура М. Антокольского, находится в помещении читального зала Рукописного отдела.

Омейяды — династия арабских халифов в Дамаске VII—VIII вв.
Осман — третий халиф в Аравии (644—654).

Суфизм — религиозно-философское течение в исламе с мистическими тенденциями.

Тишендорф К. — ученый-путешественник, составитель коллекции рукописей, находящейся в Публичной библиотеке Ленинграда.

Фатымидские султаны — правители Египта в X—XII вв.

Хаджжи Халифа — турецкий библиограф XVII в., составитель основного справочника по арабской литературе.
Хамаса — антология арабской поэзии, составленная в IX в. Абу Теммамом и, в подражание ему, младшим его современником аль-Бухтури.
Хедив — титул египетских правителей из династии Мухаммеда Али, сохранявшийся ими с 1867 по 1914 г.

АРАБСКИЕ СЛОВА

Авва — (арабск. аб) «отец» (при именах лиц духовного звания).
Аза́н — призыв на молитву с минарета.

Ба́смаля — формула «Во имя аллаха...», начинающая арабские книги и документы.

Вези́р — помощник, первый министр.

Дива́н — собрание стихотворений.

Заджаль — мелодия, стихотворение на разговорном языке.

Ибн — сын.
Иджма́ аль-у́мма — объединение общины, всенародное признание.
Истисна́ — исключение, оговорка «если аллах соизволит...».

Кава́с — стрелок, почетный телохранитель.
Ка́лам — тростниковое перо.
Каси́да — большое стихотворение, построенное по установленному плану.
Ку́бба — купол, мавзолей, комната со сводами.

Ме́дресе — школа.
Моско́би — москвич, русский.
Муста́шрик — ориенталист.

На́ура — нория, оросительная машина.
Не́схи — копировальный, курсивный шрифт.

Урджу́за — стихотворение, написанное арабским размером «ре́джез».

Фра́нджи — франки, европейцы, живущие на Востоке.

Ха́физ — хранитель, знающий Коран наизусть.
Хи́джра — переселение Мухаммеда из Мекки в Медину, эра мусульманского летосчисления (622 г.).

Шейх — старшина, наставник; титул лиц, кончивших школу аль-Азхар.
Шери́ф — благородный, потомок Мухаммеда.

Эмир — повелитель, князь.

ИЗ ПИСЕМ ЧИТАТЕЛЕЙ КНИГИ «НАД АРАБСКИМИ РУКОПИСЯМИ»

В личном архиве И. Ю. Крачковского хранятся 45 писем читателей, полученные после выхода первого издания, 75 писем — после выхода второго издания, 51 письмо — после третьего издания. Авторы этих писем пишут:

«Затрудняюсь назвать другую, далекую от моей специальности книгу, которую я прочел бы с таким же интересом... Разве это книга по арабистике? По-моему, это прежде всего книга о людях высокой страсти к «слову» — звену той цепи, которая через нас соединяет отдаленнейшие поколения наших предков с невообразимо далекими нашими потомками. Что такие люди страсти, труда, упорства есть в каждой отрасли науки — истина элементарная. Но, к сожалению, хороших книг о них мало.

Заслуга Вашего таланта, что Вы... открыли сердца читателей не только для них [арабистов], а и для арабистики» (профессор С. Н. Тюремнов, геоботаник, 18 и 29 декабря 1946 г.).

«Впервые я читал книгу о древних рукописях, написанную в такой живой, поэтической форме. Ваша книга в моем представлении является образцом того, как нужно писать о науке» (литературовед К. Н. Григорьян 30 июня 1945 г.).

«Прочел одним духом» — профессор Краковского университета Т. Ковальский (22 сентября 1945 г.).

«На днях кончил чтение Вашей прекрасной книги «Над арабскими рукописями» и не могу удержаться, чтобы не послать Вам по почте, под непосредственным впечатлением от прочитанного, крик восторга из самых глубин души. Читал неотрывно: чаровало все — и содержание, и форма, и тон письма. Прельщает и новизна, так сказать, открытого Вами нового жанра: повесть на тему о том, что составляет для каждого истинного ученого главный интерес его научной жизни, на тему о самом материале его изысканий.

Книга Ваша представляет не только художественную, но и подлинно историческую, вечно живую ценность, так как она написана с величайшей силой искренности, что делает ее первостепенной важности документом... и как хорошо, что Вы дали место в Ваших воспоминаниях и образам маленьких людей, вплоть до служителей нижнего этажа нашей университетской библиотеки, Петра и Ивана!..» (академик И. И. Толстой, 10 июля 1945 г.).

«...Я наслаждалась Вашей книгой..., тем замечательным образом ученого, любящего науку как возлюбленную, отдавшего ей всю жизнь, который встает со страниц книги, как для Вас со страниц пожелтелой рукописи встает, например, образ «знаменитого слепца из Маарры».

И такой чистотой благородно прожитых годов, такой скромностью полна эта чудесная книга, что, прочитав ее, получаешь какие-то новые силы и указания пути. Верьте, что это не фразы. Мы с Вами современники, вероятно ровесники, и расточать неискренние похвалы у меня уже не остается времени... » (заслуженный деятель искусств Т. Щепкина-Куперник, 1 июля 1949 г.).

Профессор, терапевт М. Д. Тушинский отметил, что, в книге «много материала по психологии — истории творческих находок... Ведь ученые редко говорят о себе, о своем внутреннем развитии, о том, что они переживали при той или иной работе, как они сделали какое-нибудь открытие» (Ленинград, 12 мая 1945 г.).

«Понял, какой огромный интерес представляет она для психологии: столь живого и увлекательного и вместе с тем глубокого и объективного описания научного творчества, внутреннего развития и переживаний ученого в момент открытий я еще нигде не встречал...» (профессор А. Н. Соколов, психолог. Москва, 15 апреля 1947 г.).

«Трудно выразить словами иные чувства, но книга эта буквально «перевернула» мою душу». «Всю ее пронизывает любовь к литературе и любовь к книге... Ваша книга тоже книга приключений, но приключений духа, благородного интеллекта. Ее воспитательное значение — сверх всякой оценки» (врач Г. М. Дубицкий, Иваново, 9 мая 1948 г.).

«Когда в 1945 году я впервые прочел Вашу книгу «Над арабскими рукописями», я исполнился чувства глубокого уважения к Вам, Вашим вечным друзьям и спутникам — рукописям, авторам этих рукописей и всему, описанному Вами в своем замечательном труде. Ваша книга дала толчок моим занятиям востоковедением, особенно арабистикой. Я твердо решил, окончив десятилетку, поступить на Восточный факультет Ленинградского университета, чтобы посвятить всю жизнь работе, направленной на развитие советского востоковедения» (ученик 8-го класса 249 средней школы Октябрьского района г. Ленинграда Юрий Критский, 18 августа 1948 г.).

«Я верю, что ваши труды будут оценены по достоинству. Много, много молодых людей последуют по вашим стопам и будут достойны вас» (ученик 8-го класса К. Ф. Наумов, г. Туруханск, февраль, 1949 г.).

«Мне кажется, редко бывают произведения, которые так ярко отражают глубочайшие переживания ученого, так скромно и так тепло и любовно освещают кропотливую, но благодарную работу исследователя. Ваши строки пробуждают наилучшие порывы и стремления, которые может хранить душа человека, и, если бы многие своими словами могли так глубоко затрагивать чувствительнейшие струны души, как это могли Вы, то, может быть, жизнь людей стала много лучше и много прекрасного было бы совершено во имя тех светлых идеалов человека и науки, ореолом которых освещены страницы Вашей книги — мемуаров ученого и человека» (студент ВТУЗа Г. К. Михайлов, 26 сентября 1946 г.).

«...Книжка Ваша очень уж хороша и содержательна... я в своих высказываниях не одинок. Из близких и знакомых мне людей Вашу книжку прочли трое архитекторов, моих товарищей по профессии, один путейский инженер и трое врачей разных специальностей — все люди весьма различного возраста. И хотя я ни от кого никаких полномочий не получал, но чувствую себя вправе говорить, кроме себя, еще и за семерых» (архитектор Г. В. Чайковский. Териоки, 1 сентября 1948 г.).

«Мне пришлось прочесть ее впервые только что, летом, на отдыхе.

Я прочла ее и вновь сейчас же перечла ее, начала в третий раз вслух близкой мне, восприимчивой молодежи, но ... должна была уехать и оставить бесценную книгу в библиотеке санатория.

Скажу Вам прямо: я не помню, чтобы какая-нибудь книга производила на меня такое впечатление — все в ней меня волновало до крайности.

С чувством умиленной нежности читала я Ваши, такие меткие слова о милом Иване Афанасьевиче; он как живой вновь стоит перед моими глазами; рукописный отдел Публичной библиотеки обессмертен Вашими скупыми, но сердечными словами.

Не скрою, что я со слезами читала все замечательные Ваши заключения каждой главки, в которых я видела и проникновенную человечность, и редкое благородство в оценке роли предшественников и товарищей, и удивительный тонкий юмор, и глубокую живую любовь к давно отшедшим деятелям арабской культуры, и чудесный высокий талант писателя.

Но в особенности меня задевала за живое летопись Ваших открытий. Я задыхалась (в прямом смысле слова) от волнения и восторга, следя за перипетиями Ваших открытий; с опустошенной душой стояла я рядом с Вами, когда так триумфально открытый Вами поэт, оказалось, уже читался в гранках другим исследователем; сердце мое наполнилось гордостью и даже счастьем, когда Вы даже не в своей прямой области открывали новый мир (Дивашти). Ваш научный жар и темперамент сверкают в Вашей чудесной книге и заражают и возбуждают мысль...

Но сколько бы книг ни возникло по следам, проложенным Вашей книгой..., Ваша книга, конечно, бессмертна.

Она вдохновляет, зажигает. Думаю, даже равнодушный ученый... будет горячей работать. И у нее еще то преимущество перед всеми будущими книгами в рожденном Вами жанре, что Вы двигаете пластами исключительной глубины» (литературовед Т. Г. Цявловская. 8 сентября 1949 г.).

ОГЛАВЛЕНИЕ

И. Ю. Крачковский (к новому изданию его труда «Над арабскими рукописями») 5

Предисловие к третьему изданию 11

Предисловие ко второму изданию 13

Прелюдия (*1943*) 15

I. В Рукописном отделе
Пролог (*1901*) 17
1. Старый апокриф (*1906*) 18
2. Переводчик Крылова (*1922*) 20
3. Современник Хулагу (*1911*) 21
4. «Заложник двойной тюрьмы» (*1912*) 22
5. Из Сицилии через Персию в Петербург (*1929*) . . 24
Эпилог (1941) 25

II. Из скитаний по Востоку
1. Книги и люди. Вместо введения (*1908—1910*) . . . 27
2. Грамматический трактат или антирелигиозный памфлет? (*1910—1932*) 39
3. Ненаписанная диссертация (*1910*) 44
4. Рукописи двух патриархов или сбывшееся предсказание (*1900—1927*) 51

III. Арабские писатели и русский арабист
1. «Философ долины Фрейки» (*1910—1940*) 60
2. Каирский аристократ — «феллах» 67
3. Полтавский семинарист 75

IV. В Азиатском музее
1. Введение к легенде (*1903—1934*) 84
2. Единственная рукопись и ученые «двенадесять язык» 98
3. Современник первого крестового похода (*1919—1921*) 104
4. Лоцман Васко да Гамы 110

V. В Университетской библиотеке
1. Библиотекари и библиотека (*1901—1930*) 117
2. Впервые оппонентом на диссертации (*1914*) 131
3. От Каира до Волкова кладбища в Петербурге (*1916—1930*) 143
4. Аль-Андалус и Ленинград (*1906—1942*) 152

VI. «На ловца и зверь бежит»
1. Бронзовые таблички из страны царицы Савской (*1930*) 162
2. Письмо из Согдианы (*1934*) 170
3. Куфический Коран и «бабушка-арабка» (*1936*) . . . 178
4. Пристав при Шамиле в Калуге (*1928—1941*) 183

VII. Тени предков
1. «Мученик арабской литературы» (*1910*) 191
2. «Тихий» Гиргас (*1901—1941*) 197
3. Полвека над одной рукописью (*1903—1938*) 204

Финал. Requiem aeternam (*1943*) 213

Приложение 215
«Обязательность необязательного» 215

Библиографическая справка. 219

Собственные имена и названия 225

Арабские слова 227

Из писем читателей книги «Над арабскими рукописями» . 228

Игнатий Юлианович Крачковский

Над арабскими рукописями

Утверждено к печати редколлегией научно-популярной литературы Академии наук СССР

Редактор издательства *Е. И. Володина*. Художник *К. Н. Никохристо*
Технический редактор *А. П. Гусева*

Сдано в набор 13/I 1965 г. Подписано к печати 12/IV 1965 г.
Формат 84×108¹/₃₂. Печ. л. 7,25=11,99 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 11,7.
Тираж 13 000. Изд. № 5034/04. Тип. зак. № 1702
БЗ 1964 г. № 35—№ 72.
Цена 70 коп.

Издательство «Наука». Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
2-я типография издательства «Наука». Москва, Г-99, Шубинский пер., 10

1-50
12455
1-50

70 коп.

K-28

th2

وقيل راسه طول بيديه
فاخذ رمضه ولا تكن مداي
هم اصبعين كما اسمه
معي حزن تتلوهم فاعرف
متى تومن بلاد مرا
فاعرف واحرق معه ابابيل
واجزع من اليل على السواد